

Михаил Анчаров
ГОЛУБАЯ ЖИЛКА АФРОДИТЫ
Фантастическая повесть

Электронная версия по изданию: Фантастика 1966. Выпуск 3. /Составитель В.Ревич — Изд-во «Молодая гвардия», 1966.

Иллюстрации Галина Бойко, Игорь Шапито по изданию: Михаил Анчаров «Сода-солнце». Изд-во «Молодая гвардия», 1968



Нас было трое друзей, влюбленных в одну женщину.

Да, я забыл сказать, что эта женщина была каменная.

Когда-то, в далеком неправдоподобном детстве, мы отправились в путь за красотой. Но двадцатый век — это странный век метаний между рационализмом и инстинктами, и потому в нашей попытке найти живой эталон красоты была причудливая смесь того и другого.

Мы собрали по всем журналам несколько сот фотографий красивых женских лиц тех давних времен, пересняли их в одном масштабе и многократной экспозицией создали один сводный негатив.

Мы трепетали, когда делали первый отпечаток, и, видимо, не напрасно. Когда мы вытащили на свет мокрое фото, мы увидели лицо покойницы.

Надо ли описывать наш испуг? Однако кончилось все очень странно. Один из нас взял себе этот отпечаток и исчез дня на три, а потом принес его обратно.

— Я тут тронул кое-что, — сказал он. — Потом снова сфотографировал.

На нас глядело живое прекрасное лицо. И мы тогда догадались, что красота не состоит из признаков.

Мы сделали три отпечатка и разошлись по трем дорогам.

Теперь один из нас — художник, другой — поэт, третий — физик. Физик это я.

Через несколько лет после войны мы встретились снова.

Помните эту историю, когда где-то в Африке нашли древнюю скульптуру? Фотография женского лица обошла все газеты. Скульптуре было 12 тысяч лет, цивилизация времен Атлантиды, но не это было самым интересным, для нас по крайней мере. Самое интересное было то, что она была как две капли воды похожа на лицо с пожелтевшего фото, которое каждый из нас хранил с самого детства. Вот так.

Такая же странная сила и тающая нежность были в этом лице. Попробуйте найти объяснение этому сходству! Мы попробовали.

Художник считал, что эта скульптура — обобщенный образ красоты, разлитой в мире, и что ее можно только собирать и собирать по капле, чтобы создавать небывалое, и что одинаковый путь привел к одному результату и нас и того мастера древних времен — отсюда сходство.

Я считал, что это портрет женщины, прилетевшей из космоса 12 тысяч лет назад, и тосковал, что не увижу второго прилета, а сходство объясняется тем, что в нас заложена программа гармонии, то есть тяга к человеческому усовершенствованию, и когда мы инстинктивно ее осуществили в фотопортрете, то результаты невероятно совпали с живым прототипом.

Поэт же шел еще дальше. Потому что он был максималистом. А что это за поэт, если он не максималист? Он считал, что поскольку образ возникает в мозгу по каким-то законам, то эти же законы могут породить и его реальный прототип.

Вот причина сходства.

Мы любили эту женщину, но судьба каждому из нас готовила поражение.

Так давайте же расскажем о трех поражениях, потому что они привели к одной победе.

Первым расскажет художник..

Обыденное кольцо. Рассказывает Костя Якушев по прозвищу Да Винчи. Крах первый

У меня всегда одно и то же — встану на перекрестке и думаю: как дойти домой? По одной дороге — далеко, но привлекательней, по другой дороге — ближе, но все известно.

И так всегда: как идти? По длинной дороге глупо, по ближней — скучно. Вот и в этой истории мне затруднительно связно рассказать все, что было. Если рассказать коротко — да, мы добились, чего хотели так яростно и так долго. Но при коротком рассказе надо опускать столько обстоятельств, что вся история становится почти бессмысленной, все равно что из курицы сделать не бульон даже, а бульонный кубик. И солоно, и сухо, и несъедобно.

Поэтому давайте вести рассказ по старинке, чтобы он был похож на веселого зеваку, который оглядывается на витрины, на проходящих девушек, сворачивает в сторону обсудить чужой скандал и так помаленечку добирается до цели. А когда добрался — видит, что пришел обогащенный, и не растерял, и ничего не забыл, и на прежнюю цель смотрит спокойными глазами, и она для него не фетиш, не кумир, а просто этап, и, стало быть, он остался человеком. А это в общем-то самое главное. Хотя есть и другие мнения.

Когда уже все устали от еды и анекдотов и расположились кто где, чтобы сообразить, чем развлекаться дальше, я увидел ее.

Ну конечно же, господа, совершенно очевидно, что история дальше пойдет про то, как он увидел ее и что из этого вышло.

Почему-то до сих пор это все еще интересно, хотя периодически считается, что с этой темой покончено... Эта ошибка обнадеживает.

Дальше, конечно, надо будет рассказать, как она сидела в кресле, и какие у нее были ноги, и что я почувствовал, глядя на... виноват, я хотел сказать, глядя ей в глаза.

Отделаемся сразу. Ноги у нее были красивые, как у фестивальной звезды, а глаз я не видел, так как она разглядывала журнал, где на обложке был изображен слащавый мальчишка с усиками. А так как журнал был огромный, то ноги ее, казалось, росли прямо из журнала и принадлежали этому любимцу природы. Мне стало противно, и я отвернулся.

Потом я почувствовал на себе чей-то взгляд и оглянулся поевживаясь. Она опустила журнал и смотрела на меня.

Разве есть хоть одна история, которая началась бы сейчас, сию минуту, кто может похвастаться, что знает начало отсчета? Она опустила журнал и смотрела на меня. О чем это говорит? Для вас ни о чем, для меня о многом.

И это многое случилось давным-давно, еще тогда, когда я занимался третьей сигнальной системой. Я тогда был начинающим художником и додумался до нее

самостоятельно. Одно время о ней очень много говорили. Напомню вам, в чем суть дела.

Нас учили как? В искусстве, дескать, есть содержание и есть форма, и содержание искусства — это факты жизни и их связи, а форма — это сумма Приемов, в которые эти факты воплощаются. А тогда возникал вопрос: а откуда брать эти приемы? У великих художников? А они откуда брали? И не потому ли они великие, что сами их изобретали? И потом, может быть, не в фактах дело, а в том, кто за ними стоит...

Вот Верещагин всю жизнь писал потрясающие факты — битвы, казни, а Рембрандт — соседей по квартире. Кто лучший художник — можно не спрашивать.

Стало быть, один художник от другого отличается каким-то особенным богатством внутренней жизни, которое нельзя свести ни к интеллекту, ни к эмоциональности; ни ум, ни темперамент художника еще не делают, хотя и нужны ему, как всякому человеку. И вот, занявшись тогда поисками этой особенности, я убедился, что ее, особенность эту, можно определить одним словом — вдохновение. Я понял, что это некое душевное состояние, свойственное только тем, кто может изобретать эти приемы, а не копирует их, и только в тот момент, когда он их изобретает.

Что же заводит в мозгу вдохновением? Ежели оно есть, должен быть и механизм. Первая сигнальная система заводит сношениями с внешним миром, рецепторы — глаза, уши и прочее. Вторая заводит речью. Опять не годится. Описать свои ощущения может каждый, а изобрести нечто новое — только некоторые. И тогда мне пришло в голову, что должна существовать третья сигнальная система, заведующая вдохновением, то есть особым способом мышления, которое отпущено многим, но возникает редко. И в эти моменты человек добивается результатов, которых ему никаким другим путем не добиться.

Парнем я тогда был неглупым, хотя и наивным до изумления.

Изложил я все эти соображения в письме, снабдил большим количеством цитат — высказываний великих мастеров, описывающих это состояние, и отправил в Академию наук. И получил оттуда ответ — он у меня и сейчас хранится. Суть ответа такова. Третьей сигнальной системы быть не может, потому что о ней ничего не говорится у Павлова, а кроме того, мысль о ней не нова, ее высказывали академики — приводились фамилии, — но после соответствующей критики они отказались от этой мысли. Ну тут я сразу успокоился. Потому что времена были такие, что после соответствующей критики отказывались от собственных родителей, не то что от мысли. И я, конечно, сразу успокоился. Если ученые, экспериментаторы своим ходом пришли к этой мысли, стало быть, третья сигнальная существует, а остальное — дело не мое. Мое же — искать способы развивать ее практически, если ее можно развить.

А пока я возился с этими непонятными никому делами, у меня начались личные неприятности, неудачи и обвалы, и вопрос встал так: либо надо бросать заниматься ерундой и жить, как все люди, либо потерять то подобие семьи, которое сложилось у меня к тому времени.

И решил я все бросить к чертям и только напоследок сходить к одному человеку, который жил на даче под Москвой.

Это был странный человек. Режиссер, украинец. Одни видели в его фильмах гениальность, другие — фальшь. И все сходились на том, что его картины странные. А вся суть была в том, что та монументальная форма, которую он искал для передачи душевных своих взлетов, не могла быть сфотографирована с натуры. Поэтому гениальные кадры перемежались у него с недостоверными. Догадайся он воплотить свои замыслы, скажем, в мультипликации — получились бы шедевры. Но в его время мультипликация числилась по ведомству мики-маусов и царевен-лягушек, и даже Шекспира играли обыкновенные живые актеры с прыщиками и насморком.

Я пошел к нему. Он должен был знать, что такое вдохновение.

Был вечер. Шоссе после электрички показалось тихим, хотя и по нему пролетали субботние машины с удочками, гитарами и снедью для пикников.

Я свернул на щербатую асфальтовую дорожку между заборами дач и черными елями и вдалеке увидел двух девушек в сатиновых спортивных шароварах и майках. Одна, та, что справа, была обыкновенная, а вторая, та, что слева, была необыкновенная.

Я это сразу заметил, хотя видел вдалеке только силуэты.

В необыкновенной все было необыкновенно. И тоненькая талия, и плечи подростка, и тяжелые, приподнятые чуть-чуть волосы, кое-как заложенные в пучок, и то, как она шла в своих неуклюжих ситцевых длинных штанах пузырями. Боже, как она шла! А как она шла? Фейхтвангер описывает, как император Тит влюбился в принцессу Беренику только из-за походки. «Вот какие здесь водятся», — подумал я. Когда я их догнал, я уже был совсем готов.

— Как пройти на дачу?.. — спросил я и назвал фамилию режиссера.

Она обернулась, нет, повернула голову на длинной шее, посмотрела на меня чуть хмурыми глазами и сразу стала похожа на олененка.

Оказалось, что она живет у него на даче уже третий день и приехала откуда-то с юга. Вот так-так... Я молот всякую чепуху, подруга смеялась, и олененок шел, не поворачивая головы, а я думал: болван, ведь мог увидеть ее на три дня раньше.

Один раз только она обернула ко мне лицо. Это когда нас обогнал дядька, у которого верхом на шее сидел трехлетний клоп, и дядька держал его за сандалии.

Я сказал: — А наверно, приятно, когда такой сидит у тебя на шее и держит тебя за щеки.

Она вдруг обернула лицо и улыбнулась. Черт возьми, ей понравилось, что я люблю детей, и она меня признала.

Мы пришли на дачу.

По двору ходила огромная непородистая собака. Режиссер был болен и лежал на раскладушке.

— Сердце у меня болит, — сказал он.

Я рассказал ему, зачем я пришел.

— Кто вы такой? — спросил он меня с украинским акцентом.

Я рассказал ему, кто я и чем занимался за свою жизнь.

— Быстро не обещаю, но через пять лет вы будете режиссером, — сказал он. — Только режиссура может пожрать вашу энергию.

У него был огромный лоб прекрасной лепки и седые волосы. Мы говорили, пока не стемнело.

— Сейчас кто великий художник? — сказал он. — Тот, кто пишет великого человека. А кто пишет человека помельче — тот художник помельче. А кто пишет обыкновенного человека — тот художником почти не считается. Да, — сказал он, — вдохновение есть. Шо это такое, я не знаю, но это не страшно. Страшно то, шо я не знаю, как его вызвать по желанию.

Все это время я видел ее в окно. Она теперь была в широкой клетчатой юбке и сидела на траве, опираясь на отставленную вбок руку. Юбка раскинулась веером.

— Вот кого надо снимать в кино, — сказал он. — Эти тонкие ручки, эту грацию. Может быть, она не гениальна, но это благородная норма. А мы шо снимаем?

Я провел у него на даче три дня. Мы с ней подружились.

Меня устроили ночевать на веранде, и мне приснилась солнечная паутинка.

Когда я проснулся, сон не исчез. Перед моими глазами сушились на веревке чулки-паутинки. Солнце било мне в глаза сквозь прозрачные паутинки.

— Ну и что? — сказала она независимо. — Подумаешь! Утром здесь первое солнце.

Стянула с веревки чулки и исчезла.

Подросток еще. С юмором. Забавная. Совсем подросток.

Пнула ногой бумажку. Подметая пол, вертится, как волчок.

Волосы свисают вниз, когда метет. Когда поворачивается — взлетают. Напряженный открытый взгляд, чуть хмурое выражение, чуть нервное лицо. Независимость, любопытство, гордость, комичность. Я никогда не видел таких.

Однажды мы долго разговаривали с режиссером, а потом он отправился в сад с раскладным стулом.

Я услышал шорох в платяном шкафу и открыл дверцу.

Она вылезла из шкафа и гордо продефилировала мимо.

Потом однажды режиссер рассказывал, как он пришел в кино. Ему было около тридцати, то есть примерно столько же, сколько мне в момент разговора, но только за ним была гражданская война, а за мной — Отечественная. Он тоже собирался быть художником, но его приятель-матрос, которого назначили комиссаром Киевской студии, сказал:

— Выручи. Сними картину. Пленка есть.

Он взял пленку и аппарат и в четыре дня снял комедию.

— Это были буколические времена, — сказал режиссер.

Мы опять расстались потому, что старик часто уходил отдыхать. И в этот самый момент она снова вылезла из шкафа.

Я не мог сдержать раздражения, потому что почувствовал себя глупо.

— Зачем вы это делаете? — спросил я.

— А вам жалко? Да? — ответила она.

Она все время торчала в этом шкафу.

Был еще случай.

На даче появился какой-то молодой человек, какой-то ученик режиссера. Беловолосый, с розовым лицом. Но я сразу понял, что режиссер интересуется им меньше всего.

Однажды он отвел меня в комнату и объяснил мне, что он познакомился с ней раньше меня и что не пора ли мне уезжать с дачи.

Противный этот разговор затянулся, так как белобрысый говорил с паузами и недомолвками, а я не стремился его понять. А когда он это заметил, то прошипел мне, что знает о моем семейном положении и примет меры. На это я сказал ему, что передам весь этот разговор старику и интересно, что из этого выйдет. Он сразу осекся.

Я посмотрел на него внимательно. Такой, знаете, беловолосый слизняк без подбородка, аксолотль из подземной речки, а хорохорится.

— Нет свидетелей. Кто докажет? — спросил он.

Он был прав. Свидетелей не было.

Скрипнула дверца шкафа. Тот резко обернулся. Физиономия его исказилась. А я счастливо засмеялся, так как догадался сразу.

Открылась дверца, и из шкафа вылезла она. Тот отступил к стене и замигал своими пороссячьими глазками. Белые волосы его стояли дыбом вокруг розового зальсого лба.

— Вы бейте его посильнее... — сказала она, проходя. — Он этого не любит. Я пробовала.

И вышла.

Я сказал ему:

— Брысь!

И он исчез.

А мне действительно пора было уезжать.

В этот последний день у нас со стариком был очень важный разговор. О памяти, о фантазии, о вдохновении и о том, чем они отличаются друг от друга. И я ему высказал все, что думаю на этот счет, и все, что думают мои приятели Гошка и Алеша, и о том, как мы до войны пустились на поиски красоты, и к каким выводам пришли, и о письме в Академию наук, и об ответе на письмо, и о том, что я думаю о его картинах.

Он меня не перебивал и только сказал:

— Я был рассчитан на большее количество фильмов.

Потом я спросил его, что он думает о старомодном понятии «душа» и каков, по его мнению, реальный смысл этого слова.

Он мне рассказал, как он задал этот же вопрос одному старику.

— А что, отец, говорят, никакой души нет, что душа — это рефлекс?

— Это у кого как, — ответил старик. — Если человек хороший, то у него душа есть, а если плохой — это точно, одни рефлекс.

Потом он, как всегда, пошел отдыхать, а я собрался выкупаться перед отъездом.

На протяжении всего этого важного разговора мысль о том, что она сидит там в шкафу и слушает, помогала мне. Я держался хорошо. Нет, черт возьми, я действительно хорошо держался. И понял почему.

Исполненный благодарности, я открыл дверцу и заглянул в шкаф.

— Вылезайте, ну... — сказал я. — Поговорим, как мужчина с женщиной.

Никто мне не ответил. Я отодвинул пиджаки и штаны и увидел некрашеную стенку шкафа. Шкаф был пуст, если не считать проклятых пиджаков. Но разве они могут заполнить пустоту, скажем так — пустоту шкафа? Ее нет. Вот факт. Ничем его не отменишь, и надо уезжать. Меня вдруг пронзила такая тоска, которая в народе

зовется смертной. Я ни разу не помирал, но в этот момент понял, какая тоска может пронзить перед смертью.

А потом я пошел купаться на этот дачный пруд, где в будни пытались ловить карасей, а в воскресные дни по всем кустам стояли полуторки с пивом для любителей коллективных выездов на лоно природы, на полянах бухал волейбольный мяч, по берегам лежали кучки одежды, накрытые панамами, а в пруду шевелились разноцветные резиновые головы.

Это был будний день. На берегу я встретил ее.

Стояла такая жара, что можно было разговаривать откровенно. Все тормоза сдали.

Да, я забыл сказать, что она была гречанка.



Мы произносили слово «Атина». Она произносила, а я только пытался.
— Атина, — говорил я.

— Нет, нет!

— Асина? — говорил я. — Нет? Нет?..

— О боже! — говорила она. — Осина. Слышала бы она!

Все плавилось от солнца. Небо было белое, а вода — слепящая до черноты.

Мы пытались произнести слово «Афина» так, как его произносят греки. Не «ф», а среднее между «т» и «с». Имя богини было первое греческое слово, которое я хотел научиться произносить по-гречески.

Какого черта было смеяться? Она должна была гордиться тем, что изучают ее язык, эта чудачка. Господи, ну кто она такая? Были древние греки — они представляли интерес, древние греки, а не просто греки. Просто греки — это просто греки. Они представляют интерес ни больше и не меньше других наций. Греки, подумаешь! Разве может она понять?

Когда я напивался — а это случалось редко, слишком много мне для этого надо было выпить, гораздо больше, чем обычно оказывалось в компаниях, куда меня заносил случай, а так вообще я вел трезвый образ жизни, не пил, — когда я напивался, достаточно мне было услышать греческое слово, чтобы я ушел и рыдал где-нибудь в темноте, в коридоре или на кухне, среди капель из крана и кастрюль, мерцающих в темноте от уличных фонарей.

Какой-то комок вдруг накатывал, поднимался от груди к горлу, и тогда я рыдал даже от такого дурацкого слова, как «канелюры». «Канелюры», — говорил я шепотом и рыдал, захлебываясь, отчаянно и по-мальчишески. «Канелюры», — говорил я, и снова беззвучно и некрасиво распяливал рот, и все старался двумя руками вытереть слезы, а они все бежали и бежали по щекам.

«Канелюры» — это такие бороздки, которые идут вверх по колонне. Вся колонна тогда состоит из натянутых мраморных складок, или пучка каменных струй.

— Канелюры... Я такого слова не знаю, — сказала она. — Это, наверное, не греческое слово. Молчала бы уж лучше.

Собственно, она и молчит и смеется, и у нее это неплохо получается.

— Ну, ну, не задавайтесь, — говорю я. — Подумаете, гречанка нашлась.

— Почему нашлась? — спрашивает она. — Я не нашлась. А я думаю о своих делишках. Личных. Весьма неудачных.

— Чего вы смеетесь, клякса? — спросил я.

— А знаете, какой мой любимый идеал? — спросила она в ответ и почесала ногу об ногу.

Ну вот, договорились до идеалов.

— Какой? — спросил я.

— Гаидэ.

— Кто?

— Не помните? Не помните?! Гаидэ не помните?

— Чего вы расшумелись, какая Гаидэ? Из «Монте-Кристо», что ли?

— А какая же?

— Ну помню.

Она постепенно успокаивалась.

— Я пойду домой, — сказала она.

— Идите.

— Я пойду домой, — сказала она, повысив голос.

— Знаете что? — сказал я. — Ваш идеал Гаидэ? Ну и прелестно. У вас переживания по этой части? Прелестно. А у меня нет переживаний. Ну и привет.

— Я знаю.

— Что вы знаете?

— Что у вас нет переживаний...

— Много вы знаете, — сказал я. — Тоже мне Гаидэ. У каждой порядочной Гаидэ должен быть свой Монте-Кристо, красавец с седыми висками. А у вас есть?

— Есть.

— Ну да? Кто?

— Вы... — сказала она и убежала. Ну вот, договорились.

Обычно о таких вещах я догадывался раньше.

Но это и было раньше. У меня тогда было тонкое одухотворенное лицо, и я делал вид, что не знаю, какое я произвожу впечатление, а я всегда знал, и поэтому, когда я спрашивал: «А я вам сильно нравлюсь?» — та с разбегу отвечала: «Да».

Только, несмотря на одухотворенное лицо, художник я тогда был плохой.

Теперь у меня сладко заныло сердце. Я уже со всеми своими личными делишками отвык от этого ощущения. Да, здорово все-таки узнать вдруг, что ты произвел впечатление на такую кляксу.

Старался ли я произвести впечатление? Безусловно. Применял ли я хитрости? Применял. И подчеркнутая грубость, и нотки горечи, на которые клюют невинные кляксы, то есть весь антураж, вся старая бутафория.

Нечестно? Как сказать. И да и нет. А честно вот что.

Где-то в душе, в самой глубине, жила боль, что ничего не может быть. На что можно рассчитывать? На почтение? И все?

Потом они обычно выходят замуж, и это остается у них светлым переживанием. Потом они говорят: «За мной ухаживал один художник». Я почти не встречал женщины, которая бы не могла сказать, что за ней ухаживал один художник. Я не хотел быть ничьим переживанием и меньше всего ее. Жирно будет считаться светлым переживанием ее юности. Жирно будет. У меня таких, как она, было сто штук. Вранье. Таких, как она, не было.

Дело не в юности ее. В ней было что-то от Греции. От той старой светлой Греции, которая заставляла меня рыдать, когда я пьяный, и твердо стоять на земле, когда я трезвый.

Я уехал.

Неделю я ломал себя, пытался задушить воспоминание, не смог.

Я совершал велосипедные прогулки, радиус которых все удлинялся, пока однажды я не обнаружил, что еду по тихой асфальтированной дорожке прямо к даче режиссера.

Я слез у калитки и заглянул внутрь. Дача была пуста.

Только огромная собака вышла из конуры и посмотрела на меня внимательно.

Я пошел обратно на подгибающихся ногах и держась за велосипед — такое меня било волнение.

На шоссе я увидел летящую навстречу машину. Только когда она приблизилась, я понял, что едут она и старик.

Глаза ее расширились мне навстречу, как два цветка, и она все смотрела на меня, пока приближалась машина.

Старик сидел рядом с шофером. Я поклонился им и сделал вид, что я прогуливаюсь в этих местах. Машина укатила.

Через двое суток в ночных известиях я услышал по радио, что умер великий режиссер.

Потом были похороны, и я сам вытаскивал гроб из серого автобуса с черной полосой, а потом стоял в почетном карауле.

Тихо играли скрипки, плакали люди, и его было еле видно среди цветов и лент.

Когда все кончилось, я остался один. Совсем один. Совсем.

Этой девушки я больше не видел никогда и даже не знаю, кто она такая, так как ни о чем не расспросил ее, а теперь спрашивать было некого.

Через месяц, когда я оправился после потери, ко мне пришли мои приятели Гошка и Алеша, у которых тоже были свои неудачи, и Гошка сказал:

— Судьба похожа на сумасшедшего — визжит, плачет, смеется, ухает, сопит, чавкает, — и ни одного приличного звука.

— Что ты считаешь приличным звуком? — спросил Алеша.

— Между прочим, не то, что ты думаешь, не музыку.

— Я не думаю, — сказал Алеша. — А что?

— Когда вдали летним утром деревья стоят в росе, а вдалеке бьют молотом по наковальне.

— Ух ты!.. — сказал Алеша.

— А что?

— Здорово...

— Представляешь? — спросил меня Гошка.

— Да, — сказал я.

— Знаешь, какой звук? Когда хочется подхватить: «Мы кузнецы, и дух наш молод, — сказал Гошка, — кует мы счастья ключи».

— Да, — сказал Алеша. — «Вздымайся выше, наш тяжкий молот... в стальную грудь стучи, стучи...» — Да, — сказал я. — Надо работать.

А потом мы пошли и здорово так запели, сначала тихо, а потом, когда вышли за город, громко, и все повторяли один куплет, потому что забыли остальные.

А сейчас я случайно встретил ее в гостях.

— Меня зовут Костей, — сказал я, когда мы удрали с вечеринки.

— Господи, — сказала она. — А вы меня, конечно, не помните...

Конечно, я ее помнил.

Я пожал ее руку — очень вежливая мягкая рука. Потом мы поболтали о том, о сем, а потом я с ней попрощался и усадил ее в машину, и она уехала домой. А я вернулся на вечеринку. Я уселся в углу и стал тихо-тихо смотреть телевизор и все старался забыть ощущение, которое пронизало меня, когда я пожимал эту тихую вежливую руку и на одном из нежных пальцев почувствовал гладкое кольцо.

Как вы думаете, зачем я рассказал эту печальную и обыденную историю о том, как человек не понял другого, не догадался, прошел мимо красоты, а потом

удивляется, что ему не сладко, когда обнаруживает, что веселая птица-счастье окольцована чужим кольцом?

Нет. Не угадали. Я рассказал эту историю потому, что, когда я познакомился с ней, мне было тридцать два года, а ей шестнадцать. А сейчас не за горами конец двадцатого столетия.

Давайте поговорим о чем-нибудь таком. О звездах, например, или о дороговужском сыре — как его есть, снимать ли серебряную фольгу перед тем, как резать, или совсем наоборот — оставлять ее? Или поговорим о том, как парочки целуются в подъездах. Только не стоять на месте. Двинемся, граждане, двинемся.

Все дело в том, что неизвестно, какое твое движение может решить проблему, поставленную жизнью. Ведь даже отсутствие движения — это движение. Ничто не останавливается, пока ты сидишь и ждешь. Все движется вокруг и, проезжая мимо тебя, само возьмет да и привезет тебя к цели.

Только вся беда в том, что оно привезет тебя совсем не туда, куда тебе надо. А кстати, что такое это «надо»? Ты-то сам знаешь, что тебе надо?

А ведь все-таки стремишься.

Когда человек сидит на станции, он стремится к чему-то определенному, и он мчится к нему со скоростью поезда, приближающегося к этой станции. Но тут нужно быть уверенным в расписании.

Короче говоря, все сводится к простому вопросу, и потому ответ на него непонятен: как запрограммировать судьбу?

Я сидел и смотрел телевизор, где показывали тошнотворно хорошую программу, и думал: зачем мне эта программа, если это чужая программа и в ней запрограммировано чужое представление об удовольствиях, не совпадающее с моим?

Я сидел и думал: на что я надеялся, когда увидел, как она опустила журнал и посмотрела на меня, какова моя собственная программа удовольствий, ежели мне не годится рекомендованная, и почему, собственно, меня так поразило это тысячепудовое кольцо у нее на пальце?

Какие чувства я испытал, когда обнаружил кольцо? Такие же, как и вы. Привычные. Я, конечно, не содрогнулся, обнаружив это кольцо, не застонал, не заскрежетал зубами и не упал без чувств. Просто, пожимая ей руку, я сказал:

— Ну вот.

Она посмотрела на меня снизу вверх, потом вздохнула, а потом сказала:

— Да...

А потом сказала:

— Да, да...

А потом пожала плечами.

А потом я посадил ее в машину и погрузил туда же тысячепудовое золотое кольцо, и прежде чем захлопнулась дверца, я успел швырнуть на заднее сиденье свои дурацкие надежды.

Надежды на что?

А потом я иду обратно в гости, и так как я уже сыт по горло, то я стараюсь смотреть по телевизору тошнотворно прекрасную, совсем не подходящую мне

программу и занимаюсь тем, что пытаюсь убить время, а оно себе течет и течет, и ему до нас столько же дела, сколько нам до марсиан.

Я выгляжу лет на сорок и чувствую себя соответственно, а жить мне полагается еще минимум столько же. Тысячу лет люди искали эликсир молодости, а он оказался под носом. Черт возьми, кто мог подумать, что основная причина преждевременного старения — это ложь, обыкновенная человеческая лживость.

Ложь как следствие хитрости, которая спасала человека от врагов, оказалась главным врагом, главной причиной старости.

Первыми додумались до этого мы с Гошкой и Алешей, только нам никто не поверил тогда. А потом все, конечно, подтвердилось.

То раздвоение личности, в котором жил человек, когда он всю жизнь говорил не то, что думал, то есть всю жизнь бил кувалдой по самым тонким и чувствительным своим приспособлениям, по своим анализаторам целесообразности, которые поставляют данные для интуиции, то есть для третьей сигнальной системы, бил по творчеству, по вдохновению, — это раздвоение личности оказалось причиной необратимого разрушения самой этой личности, сиречь — старостью.

Ну все перепробовали. И физику, и биологию, и химию, и биофизику, и биохимию — забыли только этику, которая и наукой-то не считалась.

А оказалось, выход простой, как репа: не лги — проживешь дольше. Но вот это-то и оказалось труднее всего.

Обнаружилась странная вещь. По улицам ходили бывшие старцы, которых уже нельзя было отличить от молодых, потому что они научились говорить правду и тем отхлопотали себе двойной срок жизни.

И в этот момент обнаружилась еще одна странная вещь.

Оказалось, что говорить правду окружающим гораздо легче, чем самому себе. Вот что обнаружилось, граждане. Вот что было ужасно. Оказалось, что благодаря предыдущему воспитанию накопилось такое количество общих мест и штампов мышления, что бедная человеческая единица, пытаясь сказать самому себе правду о собственных желаниях, не могла понять, чего она действительно хочет, а что ей только кажется, что она хочет или должна хотеть. Потому что без правды о своих желаниях нельзя было установить правду о форме своей личности, то есть о своем характере. То есть о той особенности своей, которая сможет расцвести неповторимым цветком и сделать счастливой самую личность и окружающих ее.

А выход опять был под носом, и мы с приятелями, видимо, знали о нем, но помалкивали по многим немаловажным причинам, не последняя из которых была та, что нормальные люди могли посчитать нас сумасшедшими.

«Любопытно только, что она и сейчас выглядит, как будто ей сейчас двадцать лет», — сидя у телевизора, думал я об ушедшей женщине. Видимо, она научилась не врать гораздо раньше меня. А что толку? Обыкновенная женщина. Какая там древняя Греция!

Теперь внимание. Теперь сюжет этой обыденной истории начинает делать головокружительный поворот.

Только я подумал о том, как она молодо выглядит, и это, наверно, потому, что она научилась не врать раньше, чем я, и потому разрыв в возрасте, который так и испугал меня когда-то в незапамятные времена, теперь еще увеличился и мы все

отдаляемся друг от друга со скоростью непреодоленной лжи, — только я об этом подумал, как (внимание!) дикторша последних известий, улыбаясь, начинает читать по бумажке, которую кто-то ей положил на стол, что в районе Караганды опустился межпланетный корабль неземного происхождения.

А потом дикторша из телевидения перестает улыбаться и, запинаясь, читает второй раз то же самое сообщение, а потом экран выключают и появляется табличка — технические помехи, а потом экран снова вспыхивает и мужчина-диктор с некрасиво пляшущей челюстью в третий раз читает то же самое сообщение, и тогда мы помаленьку начинаем соображать, что это не надоевшая всем телевизионная хохмочка, которую называют режиссерским приемом, что-то вроде горчички на скучной сосиске обыденной информации, а что все это правда, и что кто-то прилетел наконец, и спрашивается — что теперь с ЭТРШ делать, а?

Дальше расскажет физик.

***Слишком долгое ожидание. Рассказывает Алеша Аносов по прозвищу Рыжик.
Крах второй***

Мы сидели у Памфилия и пытались привести его в себя, разговорить, а он все не поддавался, посылал нас изредка нехорошими словами, а когда мы поднимались уходить, он отворачивался к стенке на своей бугристой тахте, и тогда мы слышали дыхание его прокуренных легких, и тогда мы шли от дверей обратно и глядели на его затылок, который был выразительней его лица, так как? лицо его ничего не выражало вовсе, а затылок выражал хотя бы презрение к нам, так ничего и не понявшим.

И так мы танцевали от двери к тахте некоторое долгое время и все больше увязали в липучей паутине бессмысленности.

И потому, когда раздался осторожный стук в дверь, мы, честно говоря, обрадовались.

— Да! — крикнул Костя. — Да, входите!

— Хоть какая-то живая душа, — сказал я. — Слава богу.

— Да! — крикнул Костя. — Да! Входите!..

Дверь приоткрылась, на пороге стоял невысокий человек в берете. Мы смотрели на него, он на нас.

— Здравствуйте, — тихо сказал он.

— Закройте дверь! — рявкнул Гошка, не поворачиваясь. — Дует...

Человек вышел и закрыл дверь с той стороны.

Мы переглянулись.

— Кто это? — спросил я.

— Не знаю, — ответил Костя, идя к дверям.



Человек стоял на лестничной клетке и ждал.

— В чем дело? — спросил Костя. — Почему вы ушли?

— Вы сказали «закройте дверь».

— Недоразумение, — сказал Костя. — Войдите.

Тот вошел и снял берет.

— Меня направили к вам, — сказал он мне. — Я ваш новый... Я ваш новый... ассистент.

— Ко мне? — удивился я.

— Извините, я продолжу... — сказал он.

— Так. Слушаю вас, — сказал я.

— Извините, это все, — сказал он.

— Немного, — сказал я.

— Извините.

Костя посмотрел на него внимательно.

— Странные у тебя ассистенты.

— Начальству виднее, — ответил я Косте и обратился к нему: — Подождите нас.

— За дверью? — спросил ассистент.

Я откашлялся.

— Гоните его к черту, — сказал Гошка, и мы увидели его блестящие глаза, обращенные к ассистенту.

— Не обращайтесь внимания, — сказал я этому человеку. — Сядьте куда-нибудь.

— Извините, а куда? — спросил тот.

— К черту! — сказал Гошка.

Мне хотелось сказать то же самое, но я сдержался.

— Вы плохо начинаете, — сказал я ему. — Мне нужны инициативные сотрудники.

— Он смущается, — сказал Костя. — Не тронь его. Вы смущаетесь?

— Не знаю, — сказал ассистент.

Костя побагровел.

Я взял ассистента за руку и подвел к креслу в дальнем углу.

— Садитесь. Почитайте вот это... — я сунул ему в руки журнал. — Здесь есть статья об инициативе. Вам будет интересно.

— Я почитаю, — сказал он.

Мы подошли к Гошке.

— Зачем вы оставили его здесь? — сказал он. — Он мне не нравится, — Гошка, — сказал я, — кончай все это. Надоело. Старый ты уже для таких штучек.

— В том-то и дело, — сказал Гошка. — Вы болваны.

Не поняли, что произошло.

Он ошибался. Мы прекрасно все понимали. Не хуже, чем он. Только мы сдались, а он нет. Вот в чем дело. И то, что он не сдался, было хуже всего. Чересчур все это напоминало безумие. И сейчас Гошка пропадал.

Я не верю в то, что человек состоит из пищи, которую он ест. И я не верю, что можно заменить слово «душа» словом «психология», а потом считать ее решающей системой.

Душа, а проще сказать, личность человека, это, видимо, все-таки не просто система, даже самая сложная. Хотя бы потому, что любая система может и не работать, если питание отключено, и все-таки оставаться системой. А личность человека, его душа, это процесс, работа. И устойчивость ее — это не устойчивость камня, лежащего в овраге, а динамическая устойчивость волчка, гироскопа, сопротивляющегося отклонению.

Или, скажем, остановите течение реки, и вода останется, а река исчезнет — будет пруд.

Я не верю в статику души. И потому я считаю, что искусство всегда держалось на исключениях. С нормой ему делать нечего. Норма — это инструкция. Может быть, я считаю, что искусство занимается патологией? Нет. Просто искусство интересуется теми исключениями, в которых оно предчувствует норму более высокую, чем обыденность.

Возьмите любой образ, самый реалистический и достоверный. Ну хоть Наташу Ростову, например. В финале она добродетельная самочка. А поначалу она обещала норму более высокую и потому была исключением. Обещание не выполнено, и

читать про это неинтересно. Почему любят детей? Потому что они обещают. Отнимите детское у короля Лира, и останется вздорный старик, псих ненормальный.

Гошка был исключением из правила и потому погибал.

И погибал он из-за этого проклятого марсианина, ничем, казалось, не отличававшегося от людей.

То есть, конечно, он прилетел не с Марса, но название его планеты почти невозможно выговорить, поэтому его стали называть марсианином. Ведь называли же на Руси немцами всех иностранцев. Не правда ли?

Помните, что произошло, когда прилетел марсианин? Ну вы же прекрасна помните. Немногие тогда понимали весь обыденный трагизм случившегося.

Праздновали, торжествовали, печатали статьи и интервью.

Шуму и треску было столько, что все уже начали уставать, как при затянувшемся кинофестивале. И вот тогда никто еще ничего не понял, не поняли смысла того, что произошло, но уже ощущали — что-то случилось.

А потом разом прекратились все сообщения, перестали печатать портреты этого, — хотел сказать, человека — марсианина.

Волнение медленно угасало. Какое-то время оно поддерживалось на Западе смутными слухами о неких особенных данных, которые он сообщает сейчас ученой и правительственной комиссии. Все ждали сенсационного коммюнике, и возникли даже страхи. Но когда оно было опубликовано, это коммюнике, страхи утихли, и все успокоилось.

В коммюнике говорилось, что марсианин сообщил чрезвычайно важные научные данные о марсианском обществе, о природе и энергетическом потенциале планеты, что, как предварительно удалось выяснить с помощью электронного перевода, на Марсе существует единая общественная система, что Марс не знает войн и потому настроен дружелюбно к обитателям Земли, что марсианин в настоящее время проходит курс изучения языка, после чего Академия наук будет печатать многотомное исследование, основанное на данных, сообщаемых марсианином, и потому вклад его в науку неоценим. И все.

Ну вы же помните.

И все.

И тут, наконец, все поняли, что произошло.

А произошло вот что.

Как там ни крути, а в душе каждого человека живет смутное представление о необыденном.

Смутное потому, что точных критериев необыденного нет.

Может быть, его главный признак — новизна, думают некоторые. Нет, постоянно возникают изобретения, которые вчера казались невозможными. Лазер был сенсацией некоторое время, потом стал обычным, как бормашина. Луч и луч, и какая разница, что он там прожигает. Волнения он вызывает уже не больше, чем телевизор. В чем дело? А дело в том, что любая техническая новинка — это орудие, инструмент и человек его использует и не считает необычным. Почему? Потому, что человек любой свой инструмент ощущает средством, а себя — целью. Человек не может долго восхищаться средством, так как ощущает любое средство ниже себя.

И потому произошла ужасная вещь.

Если марсианин прилетел сюда сообщить научные данные, то грош цена этим данным, если рухнул некий неопределенный идеал необыденности, который втайне каждый относил почему-то к Марсу. В том-то и дело, что прилетел.

Прилетел и стал давать автографы. И вся столетняя мечта о другом, недостижимо необыденном мире рухнула. Вся она свелась в общем к нормальному интервью: — Ну как поживаете?

— Ничего.

— Расскажите слушателям, как вы добились таких результатов?

— Сначала у нас ничего не получалось, но потом...

Стоило мечтать о прилете марсиан, чтобы услышать разговор типа:

— Ну как у вас с продуктами?

— Ничего. А у вас? А как же «Аэлита»?

О господи! Стоило дожидаться столько лет встречи с пришельцем, чтобы увидеть на всех экранах этого молодого человека, которых у нас самих пруд пруди.

Интерес к нему держался до тех пор, пока еще ощущалось, что вот он марсианин, а поди ж ты, ну совсем как мы с вами, и еще некоторое время, пока ожидали сенсационных сообщений. А когда началась нормальная научная работа и стало известно, что их жизнь отличается от нашей только деталями совершенно несущественными, если вспомнить, что речь идет о Марсе (о Марсе!)), то все поняли — ничего не произошло. И это самое страшное.

Вы же помните прекрасно, как все пережили тяжелый, ни с чем не сравнимый психологический кризис.

Конечно, все давно уже поняли, что нечего ждать милостей от природы и прочее и человек должен сам совершенствовать себя и свою жизнь, не надеясь на варягов. Все так. И казалось бы, уже примирились с этим. Все так, но казалось, казалось все же... Вдруг обнаружили, что в душе у каждого жил, а теперь умирает ребенок. Который верил в Деда Мороза и Снегурочку, верил в необыденное. А тут прилетел обыкновенный молодой человек, и рухнула иллюзия. Приехал молодой человек и привез кое-какие новинки техники, сообщение о том, что с продуктами у них там неплохо и профсоюзные взносы уплачены за отчетный период, есть, конечно, кое-какие недоборомки, но в основном дела идут хорошо и дружными усилиями они избавятся от всех недостатков в ближайшую тысячу лет.

Мир повзрослел как-то сразу в течение нескольких дней.

Ладно. Детство прошло. Но наступило зрелое мужество.

Надо было принять, примириться и думать о том, что делать дальше.

Теперь надо вернуться к этому проклятому клоуну Памфилию.

Вы, конечно, помните, что он говорил о той древней скульптуре?

То, что он говорил, достаточно хорошо известно, так как в свое время над этим много смеялись.

Он говорил, что всякий образ, родившийся в мозгу человека при известных условиях, может материализоваться в реальной жизни самостоятельно, так как будет создан по тем же законам, которые образовали его в мозгу человека.

Ну, посмеялись и забыли.

И только Гошка свято верил, что эта скульптура неземного происхождения, оставленная нам на память, и что была женщина, прилетала и улетела назад, оставив после себя головокружение и тоску.

Мы сначала тоже не придали значения тому, что сказал Памфилий. Он поэт, и ему это полагается. «Ничего, — подумали мы. — Из этого всего получится, может быть, стих, а может быть, песня. И Гошка освободится».

Практика показала обратное.

Оказалось, что мы его еще: мало знаем. А кого мы хорошо знаем, хотел бы я спросить? Может быть, себя мы хорошо знаем? Я пошутил, конечно.

Не получилось ни песни, ни стиха, а пришло письмо от Кати, моей жены.

Я тогда был в очень сложной командировке и, как всегда, заканчивал монтаж, как всегда, удивительно прекрасной схемы. Сколько я их состряпал за свою жизнь, одна лучше другой, но ничего существенного в мироздании от этого не произошло. Правда, на этот раз, кажется, тут действительно было нечто стоящее, и поэтому выбраться мне было затруднительно. А надо было. Потому что в письме было написано: «Приезжай, Гошка пропадает».

Да, не получилось песни.

На этот раз песня обернулась острием внутрь, и Гошка пропадал.

Он пропадал потому, что все оказалось неправдой.

Разве так он представлял себе этот прилет?

Что угодно он мог себе представить, только не прилет этого заурядного марсианина, которому так обрадовались все мы, а потом постарались позабыть и о нем и о разочаровании. Ничего. Обошлось. А у него не обошлось.

Сейчас надо рассказать о том фокусе, который он проделал с нами много лет назад.

Когда Гошка пришел к мысли, что образ возникает в мозгу по тем же законам, что и его жизненный прототип, и что, стало быть, все, что возникает в мозгу, может при известных условиях повторяться в жизни, он обрадовался и успокоился.

Ну как же? Если изобретатель представляет себе во всех деталях двигатель, который он нигде не мог увидеть, то этот двигатель можно построить и он будет работать. Тут, правда, вмешивается воля и в момент воображения и в момент воплощения. И поэтому это пример элементарный. А образ возникает независимо от воли, и материальное подобие этого образа должно возникнуть независимо, значит надо ждать, пока законы, которые вызвали в мозгу этот образ, сами создадут его реальный прототип. А сколько ждать? Может быть, жизни не хватит? Может быть. Иногда простое ожидание — героизм.

И Гошка ждал. Но годы шли, люди занимались делами дня, и ожидание становилось нелепым. Менялись взгляды, делались открытия, ветер возвращался в круги своя, а Гошка ждал.

Он начинал становиться анахронизмом.

Человечество трезвело, а «рыцарь Гринвальюс все в той же позиции на камне сидел», и над ним смеялся Козьма Прутков.

И тогда, много лет назад, мы, как и теперь, пришли к Гошке и тоже сразу поняли, что дело неладно.

Глаза у него лихорадочно блеснули, трубка у него гасла, и на одну понюшку табаку он тратил полкоробка спичек.

Комната у него была чисто прибрана, на столе стояли цветы, и через каждую фразу он оглядывался на дверь. А когда он молчал, на его лице было такое выражение, будто он говорит быстро и жалобно.

Мы ему тогда сказали примерно то же самое, что и сейчас:

— Гошка, кончай это дело. Фантазия фантазией, но надо заниматься земными делами. Посмотри на себя — ты похож на ненормального.

— А что есть норма? — спросил он, и посмотрел на дверь, и привстал.

Мы тоже оглянулись. Дверь как дверь, белая и убедительная.

— Кого ты ждешь? — спросили мы.

— Ее, — ответил он.

Мы, помню, начали о чем-то допытываться, но услышали сначала бормотанье, а потом он вытер лицо и начал рассказывать спокойно и как бы удивленно.

Из нас троих Гошке больше всех было свойственно интуитивное мышление. Во всяком случае, у него эта третья сигнальная система работала чаще, и догадки его были неожиданнее, чем это бывало у нас. Оправдывались и подтверждались самые странные его идеи.

Я уж не говорю о нашумевшем его предсказании насчет золотых рудников в районе Джиланчика. Это когда он еще занимался поисками дьявола, а нашел зеркало. Все тогда отнесли к этой догадке как к очередной мистификации. А когда через некоторое время здесь открыли самые мощные золотые пласты на земле и появилась статья в «Комсомолке» — «Сокровища красных песков», — о его догадке постарались забыть.

Но совсем забыть не удавалось, и отношение к Гошке было странное, какое-то раздраженно-боязливое. Ну не может нее быть, чтобы человек вот так, за здорово живешь, без всяких исходных данных взял да и предсказал геологическое открытие? И не то чтобы сделал геологическое открытие, а предсказал самую возможность этого открытия.

Но все дело в том, что интуиция — это вовсе не отсутствие исходных данных в фактов. Она просто опирается на факты и связи настолько тонкие, что они прямо входят в подсознание, минуя размышление, и поэтому кажется, что они взяты с потолка.

Он посмотрел в потолок.

— Не кажется ли вам, что это произойдет через несколько минут... может быть, уже произошло... — сказал он с жуткой убедительностью. — Не сходи с ума...

— Не заметили ли вы сегодня странную многолюдность на улицах? — спросил он. — Отвечайте, не уваливая, ну?

Мы молчали.

— Заметили, конечно, — сказал он. — Только трусите признаться.

Мы действительно заметили и потому теперь начали трусить.

— Смутные слухи, — сказал Гошка. — Смутные слухи. Я ехал в такси, и шоферша молодая рассказала мне о пункте, куда ей надо будет мчаться в случае начала войны. Понятно? — спросил Гошка.

Мы молчали.

— Потом милиционер остановил такси, — сказал Гошка. — Это было начало паники. Город сейчас как огромная гостиница. Все знают, как поступать в случае налета. А на самом деле это прилет пришельцев. Я об этом сразу догадался. А потом передали по радио, что население должно быть готово к атомным взрывам или аннигиляции... Ну, вы смотрите, как разворачиваются события... Тоскливый ужас перед крахом человечества и в то же время жуткое любопытство, которое я заметил у окружающих и которое передалось мне... Потом это предупреждение по радио — они прорвались..... То есть где-то на Западе их ракеты приняли за враждебные земные, и по всем вычислениям плоского разума их надо встречать плохо, так как вычислено и подтверждено, что они принесут гибель... Поэтому и авангардные бои, и кого-то уничтожили из пришельцев, и теперь приближались мстители. Фосфоресцирующее ночное небо в облаках и ощущение того, что где-то уже ведутся бои... Колебания: уже пора идти в убежище или еще нет... Трусливое бегство от лишних в этих условиях действий и элементарных услуг друг другу — как-нибудь сами пусть выпутываются — и тут же удерживают себя от таких мыслей. С одной стороны распадение связей — какая разница, что подумают о тебе, если скоро, может быть, всех нас не станет, с другой — тоска и ярость против приближающейся разлуки.

Ночь. Вдруг все заledenели. На небе засветился круг с размытыми краями... Сфокусировался — часы светящиеся...

Стрелка пошла по кругу: нам показывают, сколько осталось, догадался кто-то... И вдруг все поняли и заledenели.

«Это уже они показывают, сколько осталось».

Что осталось: до встречи или вообще — существовать?..

Человек борется не столько с природой, сколько с плодами собственной фантазии. Которые, впрочем, тоже есть природа.

Когда ракета опустилась, открылся люк, и вышла ОНА.

Та самая, что 12 тысяч лет назад. Пустыни. Не произошло ни атомного взрыва, ни аннигиляции. Ничего не случилось, если не считать удара красоты, который ощутили все, даже те, кто за всю жизнь не произнес этого слова, даже ледяные красавицы сезона ощутили это, даже старики, интересующиеся только омлетом, даже кретины, ковыряющие в носу, ощутили этот удар понимания, эту бесспорную и безошибочную красоту.

Особое несловесное понимание, безошибочность, тающая нежность исходили от нее, как сияние. Даже тем, кто стоял далеко в толпе, даже тем, кто смотрел в окошки телевизоров, было понятно, что ее кожа под рукой как ветер.

Засмеялась.

«Сейчас», — сказала она, и каждый услышал это на своем языке.

Приложила руку ко лбу. Начала медленно говорить.

Толпа притихла.

Вибрирующий голос.

Отстранила услужливо подсунутый микрофон. Голос без усилия доходил до каждого. Видимо, усиление совершалось каким-то другим путем. Все поняли: никакой вражды не будет, на стрельбу ей наплевать, они шли на это, предполагали страх и ошибку.

Подошла к клетке ревущих зверей. Откуда эта клетка? Ракета мягко, не колыхнув воды и не спугнув лебедей, опустилась посреди пруда в Московском зоопарке, и утята помчались к ракете желтыми стайками.

Она открыла клетку. Ужас охватил людей.

Львы, рыча, кинулись наружу, тяжело сшибая друг друга, и с воем начали подползать к ней — как будто узнали.

Крокодилы, сопя, ползли к ней, скрипя песком, трущимся о чешуйчатые брюхи. Передний открыл пасть, как при зевоте.

Она положила между челюстями тонкую руку. Он не захлопнул пасть. Она засмеялась и оглядела всех.

В толпе послышался стон. Люди начали становиться на колени...

— Перестань! — закричал Костя.

Памфилий замолчал. По щекам у него бежали слезы.

— Псих ненормальный, — сказал Костя. — Ты же сумасшедший совсем. С тобой потолкуешь и сам свихнешься.

— Откуда ты набрал все эти подробности? — спросил я.

— Видел, — сказал Памфилий.

— Где?

— Внутри себя.

— Бред.

— ...И на улице, — сказал Памфилий. — Вы же видели толпы на улицах?

— Сегодня праздник авиации, — сказал Костя. — Гошка, опомнись...

— Да, праздник авиации, — сказал Памфилий. — Подожди, дай я dokonчу. История не окончена... После того как я рассказал все это вам, и вы сочли меня сумасшедшим, и я на это ответил вам, что все это просто фантазия, а мало ли фантастики печатается сегодня, и вы с этим согласились, — после этого мы включаем радио, и тут диктор скажет: «Передаем чрезвычайное сообщение, — и голос у него задышающийся. — Президиум Академии наук, — скажет диктор, — сообщает, что радиотелескопы обнаружили межпланетные корабли, и они приближаются...» Он замолчал. И мы не знали, что сказать на это. Как он цеплялся за свою фантазию! Он уже и нас включил в нее, и мы уже стали элементом рассказа. Но это все-таки был рассказ. Как говорил Олеша: рассказ это все, что рассказано.

На улице был белый день. Реальная жизнь шумела на улице, а здесь несчастный парень пытался материализовать фантазию. Зачем?

— Зачем?

— Я люблю ее, братцы, — сказал он. — Вот в чем штука.

— Кого, чудак?

— Ту, которая прилетит...

— Ладно, — сказал Костя. — Тут пути нет. Разве что в безумие. Ты становишься маньяком, Гошка. Вернемся к реальной действительности. — Он включил радио. Нормальное московское радио.

— Вот послушай реальные известия, — сказал он. — Кто где что посеял и что из этого выросло. После всей болезненной чепухи это звучит райской музыкой.

И тут диктор, реальный диктор, а не выдуманный, реальный московский диктор сообщает о непонятных сигналах из космоса, обладающих периодичностью в сто с лишним дней.

И что среди всех хаотических сигналов космоса это первые сигналы с устойчивой характеристикой. И что многие советские ученые не исключают возможности их искусственного происхождения, Ну, вы все, конечно, помните это сообщение.

Обидно только, что никто теперь не поверит, что Гошка рассказал нам свою фантазию о сообщении раньше, чем оно прозвучало по радио.

Мы ничего не понимали. Чересчур это напоминало продолжение Гошкиного рассказа, и хотелось проснуться.

Мы посмотрели на Гошку. Он смеялся. Морда у него была спокойная и довольная.

— Ну вот, — сказал он дружелюбно. — Я же говорил вам, а вы не верили. Я знал, что сегодня должно случиться что-то к этому роде.

Поглядев на наши лица, он сказал.

— Выпейте водички. Еще посмотрим, кто из нас псих. Пошли куда-нибудь, закажем и съедим большую еду. Я помираю от голода.

Он потянулся с хрустом.

— Я не гордый, — сказал он. — Теперь могу подождать, сколько нужно. А вы балды, братцы кролики. Сами придумали третью сигнальную систему, а сами боитесь ею пользоваться. Чуть меня с толку не сбили. Вот как было много лет назад. Так здорово начиналось. А что из этого вышло?

Случилось самое фантастическое — прилетел этот научно-промышленный марсианин.

— Ну и что хорошего? — спрашивал Гошка.

Ладно, пора прощаться с детством. Я имею в виду детство человечества. Кстати, этот тип, мой будущий ассистент, присланный невесть откуда и невесть каким начальством, так и сидел в углу, куда я его посадил с журнальчиком. И он был нам совсем не нужен сейчас, и только моя врожденная вежливость не позволяла мне спросить его сразу, что ему, собственно, здесь нужно и почему он не пришел мне представляться в лабораторию.

— Послушайте, почему вы пришли сюда? — спросил я его.

— Мне сказали, чтобы я разыскал вас, и я разыскал...

— Имелась в виду лаборатория.

— Мне никто не сказал этого, — ответил он.

— А сами вы не могли догадаться? — спросил Костя.

Он пожал плечами. Меня начал бесить этот жест.

— Боюсь, мы с вами не сработаемся, — сказал я.

— Почему? — спросил он.

— Я вам потом объясню, — сказал я. — Вы прочли то, что я вам дал?

— Да.

Я ему дал статью, где убедительно доказывалось, что, несмотря на развитие кибернетики, человеку полагается думать.

— Вы согласны с тем, что там написано? — язвительно спросил я.

Он пожал плечами.

— Он пожимает плечами, — сказал Костя. — Почему вы пожимаете плечами?

— Вы спросили меня, согласен ли я... — робко сказал он.

— Ну?

— Я этим движением хотел показать, что я не понял...

— Чего не поняли? Согласны вы или нет?

— Я не понял того, что я прочел... — тихо сказал он.

— Не поняли то, что вы прочли?.. А что, собственно, там можно не понять? — спросил я. — А почему, собственно, вы держите журнал вверх ногами?

— Вы мне его так дали... — робко сказал он.

Он как взял журнал вверх ногами, так и попытался его читать. Он в нем ничего не понял. Мы глядели на него ошеломленные.

— А... почему, собственно, вы не могли его перевернуть?.. — тихо спросил Костя.

Он посмотрел на Костю снизу вверх, и робко улыбнулся, и пожал плечами.

Тогда Гошка вскочил с тахты, схватил его за шиворот, выволок из комнаты, протащил его по лестнице и вышвырнул на улицу.

Потом он вернулся, потрогал стены, стол, потолкал тяжелое кресло, как будто хотел убедиться, что все прочно стоит на местах.

— Но люблю фантастику, — сказал он и вытер руин о штаны.

Костя повернулся от окна.

— Он там внизу ждет, — сказал он. — Сигналит.

— Узнай, что ему нужно? — сказал я.

Костя открыл окно.

— Что вам нужно? — спросил он.

— Я у вас забыл берет, — ответил ассистент.

Гошка схватил берет и вышвырнул его на улицу.

— Не человек, а какой-то марсианин, — сказал он.

Тут позвонил телефон, и Гошка снял трубку.

— Тебя, — сказал он мне. — Начальство.

— Что они все, сбесились? У меня выходной день... Слушаю.

— Ну как? — спросил голос в трубке.

Это академик Супрунов из отделения биофизики.

— Что — ну как?

— Как вам понравился ваш новый ассистент?

Потом он мне все объяснил, что и как и зачем все это было нужно, и выходило, что я сам выпросил себе такого, ассистента потому, что моя работа по расшифровке сигналов мозга требует как раз такого ассистента. Я и мечтать не мог о таком.

— Братцы, — сказал я ребятам. — Братцы... Гошка, знаешь, кого ты вышвырнул за дверь?

— Кого? — спросил Гошка.

— Марсианина...

— То-то мне его лицо показалось знакомым до отвращения, — сказал Гошка.

Я посмотрел на часы и тут же забыл, который час.

Совершенно очевидно, что они сегодня не прилетят.

Колющие звезды шевелились в черном небе. Кoryто локационной антенны вращалось как бешеное.

Ждать и догонять труднее всего, ждать и догонять. Мы сильно продвинулись вперед и, по-видимому, догнали их. Теперь оставалось только ждать.

Весь мир ждал. И мы ждали. После того что произошло с первым прилетевшим марсианином, у нас для этого были все основания. Сейчас, когда они должны прилететь и уже нет возможности повлиять на события, особенно важно припомнить все подробности того, что случилось в эти последние безумные несколько часов.

Поначалу ничего не было заметно. Поначалу казалось, что этот паршивый марсианин не был таким паршивым.

Суть дела состоит в следующем. Люди должны понимать друг друга. Координация стремлений, согласование, совпадение желаний — это и раньше было важно, но считалось как бы частным делом и решалось на семейном уровне. Сейчас с исчезновением классов и классовых столкновений вопросы взаимопонимания вышли на первый план. А что у человека для понимания? Язык слов? Язык жестов? Язык мимики? То есть понимание человека человеком держится по-прежнему на догадках. Оцениваем жесты, симптомы, статичные признаки, ищем подтексты в словах, догадываемся, что они означают на самом деле. Хаос, дисгармония.

Я человек реальный, не фантазер. У меня сказано — сделано. У меня тоже своя идея, которую я тащу через всю жизнь.

Но только в отличие от Кости и Памфилия идея моя практическая.

Костя обуреваем идеей третьей сигнальной системы и ищет способы вызывать вдохновение по желанию, то есть ищет способа мыслить скачкообразно и потому высокопродуктивно.

Памфилий идет еще дальше и считает, что если в мозгу возникает образ и, стало быть этому есть причины, то почему бы этим же причинам не породить образ в реальном виде. То есть как бы теория Платона наоборот.

Понять — значит упростить.

Понять себя — значит упростить себя. Отсюда вся кибернетика — от идеи свести функции мозга к простым «да» и «нет». Для частных задач расчета и управления она родится, для открытий — нет. А только открытия позволяют жить живому. Ведь если понять — значит упростить, значит то, что понято, — проще того, кто понял. И стало быть, любая машина, созданная человеком, проще мозга, ее создавшего. Это относится и к кибернетике.

Спрашивается: а как же прогресс, а как же эволюция — развитие от простого к сложному? Но разве эволюция проходила сознательно?

Ну хорошо. Человек пришел к сознанию, что у него есть сознание. Так неужели сознание ему дано только для частных задач упрощения? Для того, чтобы придумать робота, который быстрее человека отвечает «да» и «нет»? А зачем ему этот робот?

Вдумаемся. Машина — всегда для облегчения усилий. Стало быть, ясно одно: человеку трудно с достаточной быстротой отвечать «да» и «нет». А почему? Потому

что самое трудное для человека — это сделать выбор. Даже самый маленький выбор для него микротрагедия. А почему? Потому что все, что есть, для чего-нибудь нужно.

Выбор относителен. В каждом варианте есть «за» и «против». Поэтому истинное решение лежит за рамками противоположных доводов. Но до этого надо созреть, а это всегда трагедия. Вредность или полезность любого выбора относительна, и человек смутно чувствует это, и его охватывает рефлексия, то есть противоборство желаний. У робота же никаких желаний нет, поэтому решение его мгновенно. Желаний у него нет, но у него заодно нет и совести. И это мы тоже достаточно видели в фашизме.

Мы еще не знаем, что такое желания, но мы знаем, что они есть. Мы стараемся понять причины желаний, потребностей, но суть их одна — человек несчастен, если они не удовлетворены.

Но исполняются наши желания, и мы опять несчастны, так как чаще всего результаты нас не удовлетворяют.

И очень часто мы испытываем счастье тогда, когда мы этого вовсе не ожидаем. То есть удовлетворены какие-то наши глубинные желания, о которых мы и понятия не имели.

Есть понятие «черный ящик». Оно означает, что есть некая система или механизм, принцип действия которого нам неизвестен, но известны результаты нашего воздействия на этот механизм. Ударишь по нему — вспыхнет, скажем, зеленый свет, пощелкаешь — раздастся звук. О человеке неизвестно даже это. Неизвестно, как поведет себя человек, столкнувшись с одним и тем же фактом.

Что это означает? Что человек нестабилен, что он что-то вроде тумана или броунова движения? Нет. Стабильнее человека нет ничего. Только стабильность его высшего порядка.

Все его бесчисленные, не поддающиеся учету реакции обеспечивают его главную стабильность, делающую его человеком и безошибочно отличающую его от любого животного вида.

Что же это за отличие?

Не кажется ли вам, что единственное, что делает человека человеком, это вовсе не способность вычислять, и анализировать, и делать выбор — это умеют делать машины, не приспособляемость — это умеют даже бациллы, — не кажется ли вам, что человека делает человеком только его способность к сочувствию, распространяющаяся на окружающих?

Вы скажете, что это тоже мысль, и, стало быть, упрощение?

Да, но только в той мере, в которой она выражена словами.

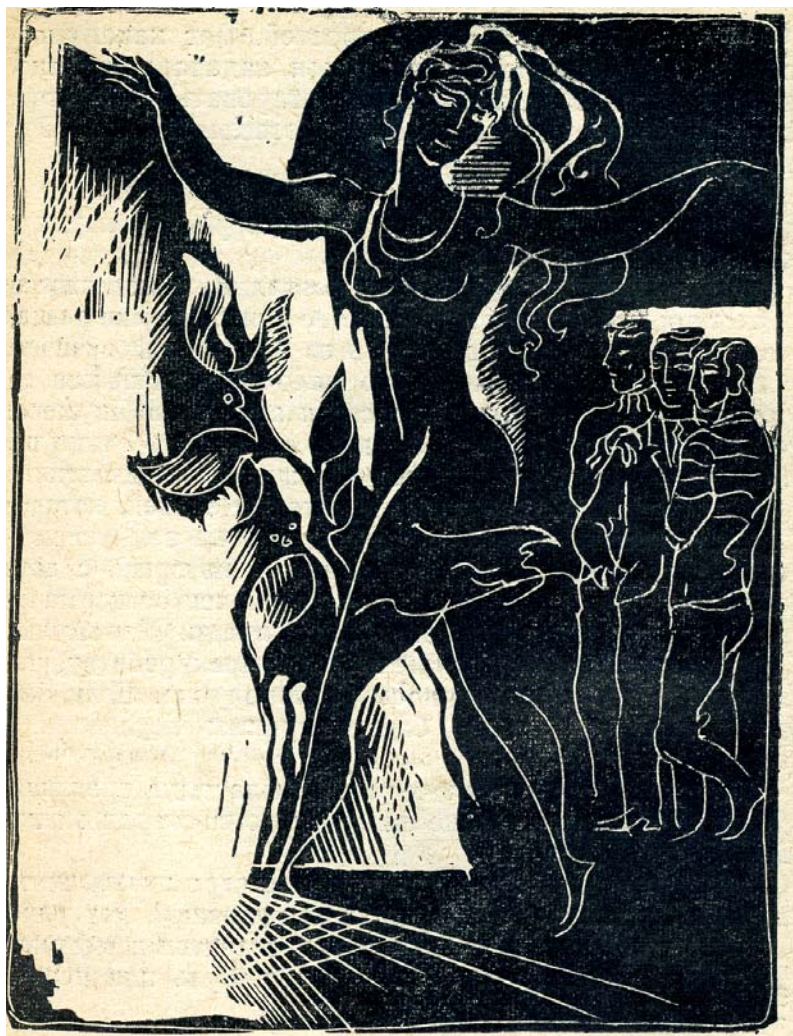
Подберите любой термин, назовите это чувство нежностью, этикой, душевностью, состраданием, милосердием, совестью, взаимопониманием, каким угодно словом назовите это чувство, — наблюдение останется верным: все человеческое связано у человека с этим, все звериное или машинное — с отсутствием этого. Чего этого? Человечности. Человечности!

Так нельзя ли, спросил я себя, не дожидаясь, когда станет известен механизм человечности, придумать механизм, улавливающий и использующий симптомы гуманизма? Если есть это чувство — должны быть и его симптомы.

Любое чувство — это процесс, то есть некая энергетика, и следовательно, на выходе всегда изменение электрических потенциалов, изменение биотоков. Значит, их можно записать, получить энцефалограмму любого чувства, в том числе и главного — этого.

Если можно записать энцефалограмму, то ее можно и воспроизвести. Можно построить генератор, способный передавать на расстояние прихотливую звенящую энцефалограмму человечности, и она будет накладывать свою синусоиду на весь спектр человеческих биотоков, и вызывать резонанс, и отзываться эхом в человеческой душе, и, стало быть, эта задача при всей ее сложности чисто техническая, а это уже по моей части. Так думал я.

«Послушайте, — думал я, — а разве мы не занимаемся этим повседневно? Разве вся педагогика, воспитание, школа, семья с самого нашего детства не занимаются тем же самым? Только они это делают словами, звуками, красками, которые вызывают образы, а я обойдусь без промежуточного звена и, стало быть, смогу проще дойти до больших глубин и сделать рефлекс человечности устойчивым, как потребность».



Но тут передо мной вставал другой вопрос. Где взять образцы?

Кто решится энцефалограмму одного человека сделать эталоном для всех остальных? В любом случае остается сомнение: а нет ли более высокого образца? И кроме того, где доказано, что сама человечность — статична, не изменяется, не эволюционирует? Где доказано, что в каждом следующем поколении не может быть достигнута более высокая ступень? Кто же решится остановить этот великий процесс и загнать человечность в одну, даже самую просторную колодку?

Так возник вопрос о последствиях.

Сегодня уже нельзя отмахнуться от этического смысла науки вообще и любого эксперимента в частности. Поняли уже, наконец, что научное открытие, изобретение не нейтральны.

Молотком можно забить гвоздь, но можно и пробить голову.

Важно, в чьих руках молоток. Если нельзя давать пистолет ребенку или безумцу, так как они не отвечают за последствия, то ученый, безответственно идущий на эксперимент, отвечает за него, как всякий преступник.

Науку остановить нельзя, но ученые повзрослели, и никто уже теперь не идет на эксперимент, не предусмотрев «фул пруф», защиты от дурака, не разработав техники безопасности.

Как же мне было поступить? Как же снять противоречие между необходимостью проверить эту идею (чересчур заманчивы были последствия) и необходимостью обезопасить человечество от этой идеи (чересчур страшны были последствия)?

А выход нашелся очень простой. Вот такая моя задача — лично моя, какая моя задача конкретно, как ученого? Моя задача: смонтировать генератор, способный глушить синусоиду бесчеловечности. Вот и все.

Вот и выход из моего противоречия науки с этикой.

Не нужно создавать единого эталона человечности и тем тормозить ее эволюцию. А нужно глушить бесчеловечность и тем тормозить ее эволюцию.

Создавать идеалы — это дело оторвавшегося от земли Памфилия и держащегося за землю Якушева. Я не художник. Не мое дело — создавать идеалы. Мое дело — выпалывать все, что мешает их цветению.

Кто мне в таком деле поможет? Человек, которому легче всего взглянуть со стороны на земную норму, на человеческий вид в целом и который, с другой стороны, сам бы ничем не отличался от нормального человека. Кто же это? Вы угадали.

Марсианин.

А теперь надо рассказать о четырех ребятах, из-за которых все окончилось благополучно. Если, конечно, можно считать благополучным неудавшийся эксперимент.

Главная среди этих четырех была одна гречанка. Я тогда еще понятия не имел, что она старая знакомая Кости Якушева.

Она была немножко лохматая, с огромными не то огненными, не то меланхоличными глазами. Рот у нее был всегда полуоткрыт. Бывало, уставится и смотрит. И не поймешь, думает она о чем-нибудь или просто ждет, когда же ты, наконец, уйдешь.

Сначала все считали ее глупой. Но это быстро прошло.

— Телка, — сказал наш сотрудник Кожин. — Уставилась и смотрит. Интеллект на точке замерзания.

И еще многое говорил. А потом совсем интересно говорил.

Мы все забыли даже, из-за чего он разговорился. А когда стало совсем интересно и он уже одобрительно поглядывал на нее и думал: вот, наконец, у нее что-то живое в глазах, — в этот самый момент она усмехнулась и спрашивает его:

— Стараешься?

А потом пошла прочь и сорвала травину длинную и голенастую. А мы смотрели, как она шла, далеко отставив согнутую в локте руку, так как травина была длинная и голенастая, и светлый конец травины она держала губами.

Как она шла! Это надо было посмотреть, как она шла.

А у Кожина был бледный вид.

Он опять заговорил о чем-то, но Толич сказал:

— Тебя почему-то интересно было слушать, пока она здесь стояла. А теперь неинтересно. А может быть, ты глупый?

Кожин тогда повернулся и ушел. От Толича всегда можно было ожидать нелепых выводов. Он этим славился.

А как она танцевала! Боже! Она распускала тяжелый пучок волос, встряхивала головой и роняла волосы на спину.

Грива! И тогда она начинала танцевать. Кисти рук отведены в стороны, шаги длинные, повороты — не уследишь, талия — как тростинка! А в глазах опять никакого выражения. Нельзя понять — интересно ли ей, что на нее смотрят, или она просто дожидается, когда устанут на нее смотреть и разойдутся. И все время летающая грива волос.

А в общем-то она не задавалась, не была недотрогой или какой-нибудь одинокой. Она дружила с тремя ребятами. Самыми неинтересными из всех, каких вы когда-либо встречали в своей жизни. Иногда вы могли их увидеть всех четверых. Тогда она клала кому-нибудь из них руку на плечо, а все четверо смотрели на тебя.

Потом они уходили.

Больше всего раздражало то, что вот так рассмотрят, взвесят и уйдут. И не то чтобы они при этом понимающе переглянулись или потом поговорили о тебе, обсудили. Нет. Просто у них было единое мнение на все. Поэтому они посмотрят на тебя и уйдут, и каждый из них будет уверен, что у каждого из них, у всех, одно и то же мнение. Вот собаки!

Можно подумать, что наедине они вели содержательные беседы — рассказывали друг другу сюжеты фильмов, задавали друг другу вопросы: «А как ты провел день?», или: «Нравятся ли тебе новые стихи, напечатанные в газете?» Нет.

Наедине они все четверо не вели содержательных бесед. Не вели они также бессодержательных бесед. Они не вели никаких бесед. Они молчали.

Можно было подумать, что у них уже все рассказано друг другу. Нет. Они понятия не имели о прошлом друг друга. Это было известно точно. А может быть, они были связаны какой-нибудь тайной? Или они родились в одном доме или в одном роддоме? Или родители их погибли в одной воронке, завещав им... В общем на любое предположение, которое может вам прийти в голову насчет того, почему она

была с этими тремя парнями, самыми неинтересными из всех, которых когда-либо я знал, был один ответ: «нет».

Скучнее этих парней еще не рождала планета. Можно их описать, если вы настаиваете. Один был белокуро-курчавый с вечной нелепой улыбкой на губах. Другой был тощий, с крошечным ртом, примоченными водичкой волосами и петухом на затылке. Третий, самый низкорослый, был стрижен под бобрик, с угрюмым нависшим лбом, маленькими глазками и вечно черной недобритой физиономией. Описание делает их приметными. Отбросьте его. Оставьте только непередаваемое ощущение скуки, которое распространяли эти трое, когда взгляд останавливался на всей четверке, у которой не было абсолютно никаких причин быть вместе.

Мы познакомились со всей четверкой на острове. Река была сизая в то лето. Дулись в волейбол в кружок. Потом появилась эта четверка. Я когда-то давным-давно ходил на лекции по истории кино, только чтобы поглядеть старые фильмы.

Знаете, такие старинные звуковые фильмы, где играют еще обыкновенные живые артисты, как в театре, не понимая, что театр — это каждодневная игра, а лента — вещь станковая, как живопись или скульптура. Удивительно. Но мало ли что нам сейчас удивительно. Нам вот сейчас кажутся удивительными старинные обтекаемые формы автомашин. Вспоминаю, что их такими делали для скорости, как будто нельзя было поставить посильнее мотор. Я там посмотрел историческую картину, называлась, кажется, «Богдан Хмельницкий», да, именно так. Там был один кадр, когда глашатаи объявляли: «Татарин на острове!» — и показывались татары, идущие россыпью вверх по берегу, и впереди кружились шаманы. Вот так эти четверо и шли по берегу, чуть наклонившись вперед, когда мы их увидели первый раз. А мы организованно играли в волейбол и на нее — нуль внимания, чересчур она была заметная и немыслимо яркая. В газете был чей-то рисунок, портрет «Мисс фестиваль», кубинка с последнего международного фестиваля, помните? Вот на кого она была похожа.

Когда у Кожина потом нашли этот рисунок, все сразу догадались, почему он его хранил.

Потом, когда закончилась работа и мы все уехали с острова, я думал, что больше не придется иметь с ней дела. Но вот теперь, когда установка была закончена и встал вопрос об эксперименте, я перебирая в уме картотеку людей с необходимыми данными, картотеку, сто раз пропущенную через статистические машины, все чаще наталкивался на группу из четырех фамилий, три из которых были мужскими, а одна женская.

И только на последнем туре отбора, когда надо было из десяти отобрать одного абсолютно нормального человека, я решил, наконец, посмотреть фотографии. Так как внешний вид тоже имел значение (Костя, например, предлагал начинать отбор с внешнего вида, но я традиционно не решился), когда я посмотрел на фотографии, я сразу узнал всех четверых. Ее и троих скучнейших, ординарных до зевоты парней.

«Слава богу, — подумал я, — хоть этих троих я брать не обязан». Вопрос же о единственной кандидатуре решился сразу.

Нет, не потому, что тут были какие-то личные мотивы, я как раз не люблю нормы, это Костя любит норму, я люблю исключения, я люблю Катю, это моя жена.

Мой выбор пал на эту девушку, так как ко всему прочему она была гречанкой. А сами знаете — у каждого из нас есть какое-то тайное почтение перед людской породой, родившей самую высокую норму, тип.

А я хотел предусмотреть все.

Я и предусмотрел все. Кроме одного. Я не предполагал, что она откажется пройти испытание без своей унылой свиты.

Она отказалась наотрез.

А они молчали, и сонно смотрели на меня, и понимали что-то свое, для меня непонятное, и опять были согласны друг с другом во всем, и я чувствовал себя идиотски.

Была проделана огромная работа, я даже боюсь сказать, сколько лет, сил и средств ухлопали на этот эксперимент. Один среднестатистический отбор стоил... не буду называть сумму...

И вдруг эта особа говорит, что она отказывается, и выдвигает глупое условие. Все равно как если бы первый космонавт заявил перед запуском, что он полетит только со своими хорошими приятелями, иначе ему лететь не хочется.

Что оставалось делать? Я плюнул и согласился. В конце концов не все ли равно — один или четыре. Расходов это почти не потребует.

Мы с марсианином начали готовить установку.

Он сказал:

— Сначала попробуем на себе... Чтобы не повредить остальным.

Это меня растрогало. Скажите пожалуйста. Приезжий, можно сказать командировочный, что ему до наших земных дел, зачем ему связываться с экспериментом, результаты которого вполне неизвестны?

Если бы я не познакомился с ним за это время и не полюбил его, я бы сразу сказал «нет». Зачем мне в этом чисто земном опыте путаться с неизвестным, чуть не сказал — человеком, марсианином?

Так и сказала эта гречанка, хотя ее никто об этом не спрашивал.

— Не путайте его в это дело, — сказала она. — Кто его знает, какие у него там биотоки.

— Чепуха, — сказал я. — Он ничем не отличается от человека. Это показали объективные исследования.

— В том-то и дело, что объективные, — сказала она.

Я разозлился. Я никак не мог понять и оправдать ее открытой неприязни к марсианину. Я присматривался к нему все это время, и, за исключением некоторых странностей, вроде того, что он ничего не делал без разрешения, ни одного шага не мог ступить без того, чтобы не спросить: разрешите? — что, впрочем, объяснялось его боязнью нарушить какие-нибудь земные правила или привычки, — и его все полюбили за эту мягкость и тактичность, и обслуживающий персонал был от него прямо в восторге, и я полюбил его за ласковость, — ничего плохого я не мог заметить за все это время. Но я понимаю, конечно, что бы я ни написал и какие бы доводы я ни приводил сейчас в пользу марсианина, любой читающий эти строки уже насторожился, поскольку эта красивая молчаливая девушка высказалась о нем неодобрительно.

А какие я должен был проводить исследования — субъективные? Я и провел и увидел, что это немного безынициативный, обаятельный парень, который принес из другого мира колоссальное количество устной информации, с которой сейчас возятся ученые во всем мире, а конструкторы исследуют эту небольшую ракету, не имеющую возможности вернуться обратно. Я увидел, что в его лице мы столкнулись с абсолютным доверием к нам со стороны незнакомого мира и с его личной абсолютной самоотверженностью. И вот теперь, когда он, трогательно одинокий на нашей земле, предлагает нам исследовать биотоки своего мозга, мы почему-то должны быть более насторожены, чем он, и ответить ему недоверием. Нелепо и некрасиво.

— Согласен, — сказал я. — Попробуем на себе.

Конечно, в этом был элемент риска. Взаимно записать характеристики мозга не представляло никакой опасности. Опасно было, конечно, передать друг другу свои усиленные энцефалограммы: кто его знает, как поведет себя мозг при столкновении с незнакомым спектром излучения? Но, судя по всем предварительным исследованиям, показатели его мозга принципиально ничем не отличались от показаний нормального человеческого и, кроме того, начинать можно было на малой мощности передачи, мы хорошо продумали систему автоматической блокировки на тот случай, если мозг испытуемого проявит хоть какое-нибудь неудовольствие во время эксперимента. Короче — предусмотрено было все, что только можно по части безопасности эксперимента. И та микроскопическая доза риска, которая еще оставалась, не шла для меня ни в какое сравнение с возможностью первому увидеть образы чужого мира.

Вот с какими чувствами начинал я этот эксперимент, закончившийся так печально.

Вот описание того, чем закончился этот эксперимент. Лень и ни к чему пересказывать всю последовательную цепь мелких событий, которые постепенно вызывали у меня в душе чувство нудной настороженности и желания отказаться вовсе от этой затеи. Я не мог отказаться, если не хотел унижить в своем лице весь человеческий род.

Все, что нужно, вы поймете из дальнейшего, поэтому перехожу сразу к тому, что случилось после эксперимента, опуская несущественное.

Когда все закончилось и мы обалдело смотрели друг на друга, как люди, подглядевшие случайно сквозь замочную скважину нечто неприличное, мы не сразу могли заговорить.

Наконец, он прервал молчание.

— Это ты был?

Мы уже давно были на «ты».

— Я.

— А это был ты? — спросил я.

— Я.

— Не густо, — сказал я. — И не очень интересно.

— Да.

Было слышно, как снег царапается в окно.

— Я не могу себя считать плохим человеком, — сказал я.

— Я тоже, — сказал он.

— Мало ли какие следы выбора и отброшенных желаний может вызвать встречная энцефалограмма. Ни один эксперимент не защищен от влияния экспериментатора. Нельзя строить новый дом в белых перчатках. Для того чтобы два мозга, две личности достигли понимания, нужна терпимость. В прошлом есть не только вина, в прошлом есть беда. Нельзя жить без доверия к будущему. Нельзя ждать, пока все станут ангелами, чтобы начать хорошо жить. Главное — это чистить в своей душе авгиевы конюшни.

Он нервно засмеялся.

— Тебе не кажется, что речь здесь идет о чем-то большем, чем достижение взаимопонимания? — спросил он.

— Больше здесь ничего нет. Не так мало, а? — сказал я. Что ты имеешь в виду?

— Милочка моя, — сказал он, — речь идет о власти над миром. Вот так-так...

— Тю-ю... — сказал я, а больше ничего не мог сказать.

Он подумал.

— Я всегда знал, что ты в общем недалекий человек, сказал он.

— Я тоже, — сказал я. — Но меня это устраивает. А как ты себе представляешь власть над миром и что вообще это означает?.. И вообще на кой черт она нам нужна?

— Ладно, последний раз тебе предлагаю, — сказал он.

— Что предлагаешь? Власть над миром?

— Да.

Тут я засмеялся.

— Весь мир, да? И чтобы у нас над ним власть?.. Ну ладно, давай. Как ты себе это представляешь?

Он задумчиво почесал нос.

— Записывать то, что есть в нас, неинтересно, — сказал он. — Тут ты прав. Мы не дети. Накопился всякий мусор обид и прочего в том же роде. Интересно будущее. А это надо вообразить. Если записать то, что я воображаю... или ты, — добавил он, подумав, — свои идеалы... как, например, я свое представляю хорошую жизнь... на самом деле... то есть все потаенные желания, все вожеления, вообще все — понимаешь?

— Ну-ну... — жадно сказал я. — Продолжай.

— А-а, — протянул он, — и тебя заело?

— Заело, — сказал я.

— Так вот. Можно будет навязать свой вариант жизни всему остальному человечеству... Больше того... Заставить его хотеть жить как мне угодно. Им будет казаться, что это добровольно.

— Ну-ну...

— Что — «ну-ну»?

— А как ты это сделаешь?

— Чепуха, — сказал он. — Запускаем несколько спутников и с них ретранслируем поле на весь земной шарик.

Он так и сказал: «шарик». А я вспомнил, как мы два часа шли до бензоколонки по хрустящему снегу и какая была огромная земля на закате, а ведь всего было шесть километров.

И казалось, что земля плоская, как до Магеллана, и как это было приятно.

— Представляю, — сказал я.

— Да, — сказал он. — Вот так.

И отошел к окну.

А за окном под снежком бежали люди. Власть-то была у них. А теперь, стало быть, власть будет у нас. Я никогда не задумывался над тем, люблю ли я людей. Не то чтобы кого-нибудь отдельно, а всех скопом. А сейчас вдруг понял: люблю.

Я теперь могу сделать так, чтобы они все ко мне хорошо относились. Я теперь буду встречать одни улыбки, и все меня будут любить, прямо-таки обожать, и будут счастливы оттого, что любят меня больше всех. Я тогда и работать, наверно, перестану, а буду только ходить по гостям, сопьюсь, наверно, а?

— Чудовищно, — сказал я.

— Почему? — сказал он. — Им же будет казаться, что это добровольно... А раз добровольно, следовательно, и они будут счастливы... Знаешь что?..

— Что?

— Можно будет даже не запускать спутников, а воспользоваться уже летающими... Их сейчас до черта летает... На первый случай... А потом они сами будут их запускать, добровольно. Представляешь?

— Нет, — сказал я.

— Какого черта?! Ты смеешься надо мной? Скажи прямо?

— Нет, — сказал я. — Просто не представляю, какие такие у тебя идеалы, чтобы из-за них стоило хлопотать.

— А ты вполне счастлив? — спросил он.

— А как же насчет взаимопонимания всех? — спросил я.

— Значит, нет. А хочешь счастья?

— Каждый хочет.

— Можешь попробовать.

— То есть?

— Сейчас, — сказал он.

Мне это не приходило в голову.

— А кто будет пробовать? — спросил я.

— Да... это вопрос... Тот, кто попробует первый, заставит другого... ну и так далее...

— Чушь какая, — сказал я. — Ну, бросим жребий.

— Нет... — сказал он. — Жребию я бы не подчинился... Это дело слепое.

Я подумал: куда девалась его робость, его вежливость, его почтительность? Ведь когда он появился, у него вид был такой: ешь меня с маслом, и все тут, благоговею, и все дела.

Посмотрели бы на него сейчас те, которые верили в его ангельские качества.

— Тогда не знаю, — сказал я.

Он весь дрожал. Рот у него всегда был маленький и женственный. Теперь он его стиснул так, что рот у него стал похож на куриную задницу.

— Есть способ, — сказал он.

— Какой?

— Борьба.

— Ты способен на то, чтобы драться со мной? — спросил я с интересом.

— Да. — Он вытащил пистолет и направил на меня. «Интересно, откуда у него оружие?» — подумал я. Он почти касался панели с пусковыми кнопками.

— Болван ты, — сказал я. — Отойди от панели. Хочешь попробовать, попробуй на мне, черт с тобой.

— Ты правду говоришь? — , спросил он и взвел курок. Я же могу проверить.

— Проверяй, пожалуйста, — я пожал плечами.

Соображать надо было быстро. Но на улице был снежок и шли люди. Теплые, мягкие парни, девушки. И все со своими собственными желаниями. Я как подумал, что этот поденки; может сделать с девушками... Или со старухами. Он всегда не любил старух. Он же их просто уничтожит. Когда старушка одна идет по улице, мне плакать хочется. Я маму вспоминаю.

— Не трус, — сказал он голосом сильного человека. — Я тебя не трону. Ты правда согласен?

— Правда.

И тут я понял. Вспомнил, кого он мне напоминает. Не удивительно, что я не сразу догадался. Мы разбаловались, отвыкли, пропал иммунитет. Привязали тип к признакам быта, к канарейкам, устарелой мебели. Мещанин. Вот кого он мне напоминает. Озверелого мещанина. Резерв фашизма. Самый загадочный феномен предыдущей исторической эпохи. Последний социально исторический тип. С исчезновением классов можно уже говорить только о типе психологическом. Впрочем, о психологическом типе можно было говорить всегда, только это не решало дела, проблемы эпохи решались на социальном уровне. И я подумал: «Интересно, черт возьми, а что, если попробовать?»

— Попробуем, — сказал я.

— Смотри, без дураков.

— Дураков нет, — сказал я. — Я вступаю с тобой в коалицию. Тебе всегда будет нужен смысленный помощник.

Он не сразу заговорил, сначала помолчал.

— Теперь верю, — сказал он.

— Господи, почему? — спросил я.

— Я вижу у тебя реальный интерес. Возможность уцелеть заставляет тебя согласиться на ограничение твоих вожделений.

— Да, на ограничение, — сказал я.

— Не горюй, — доброжелательно и презрительно сказал он. — И потом это все временно. Для меня это только начало. Потом я улечу, и ты останешься хозяином земли. Ну, конечно, с подчинением центральной планете, которую я выберу в солнечной системе. А потом в галактике. Земля, конечно, провинция, но еще Юлий Цезарь сказал: лучше быть первым в деревне, чем вторым в городе. Так что не огорчайся.

— Юлий Цезарь был мещанином, — сказал я.

— Какая разница, — сказал он.

— А где гарантия, что ты меня разбудишь? — спросил я.

— Чудак! Мне необходим толковый помощник.

— Черт возьми, — сказал я, — теперь верю. Тоже вижу твой реальный интерес.

— Ну вот ты наконец-то понял. Слушай меня всегда. Я научу тебя жить.

«Откуда у него эта лексика? — подумал я. — Нет. Я не могу отказаться от этого случая. Представляется неповторимый случай узреть идеалы мещанина не снаружи, а изнутри. Именно идеалы. Не канареек, которых боялись в прошлом, не низкопоклонство перед барахлом, а свободу воли мещанина».

— Добро, — сказал я. — Спущусь в подвал. Включу общий рубильник. А ты следи за приборами.

Он поднял пистолет:

— Не дури.

— У бездарного человека сомнение выражается в недоверии, — сказал я. — Господи, с тобой невозможно работать.

— Я тебе это припомню, — прошипел он.

— Энергия нам понадобится вся, телефоны отключены, оружие и ключи у тебя. Какие тебе еще нужны гарантии?

— Ну иди...

— Боишься, — сказал я. — Эх ты!.. А еще хочешь управлять галактикой.

— Пошел вон... а то я передумаю, — сказал он. — И убью тебя... э-э... не отходя от кассы.

— Осваиваешь идиомы, трусишка, — сказал я и пошел прочь.

И мне пришло в голову, что только большой трус может мечтать о власти над миром. Так как только она может дать ему иллюзию безопасности — так он надеется, и жаль, очень жаль, что не сохранились энцефалограммы великих тиранов.

Трусу необходимо попытаться завоевать мир, он не может позволить себе роскошь отказаться от этого, он же должен себя обеспечить.

И я тогда подумал: ну нет, я от этого отказаться не могу.

Узнать подлинные идеалы мещанина, без вранья, на самом деле, без игры в сверхчеловека, в сильную личность, без павлиньих перьев, без игры в цинизм, узнать, так сказать, без нижнего белья, голенького, побывать в подсознании — ну нет, от такого путешествия я бы не смог отказаться. Чересчур важные сообщения я мог принести людям. А риск? Пусть будет риск. Путешествовать необходимо, жизнь сохранить не обязательно, сказал Магеллан. Меня душила ярость.

Я спустился в подвал.

Конечно, все четверо пришли, как и грозились. Господи, какое счастье, что они нарушили мой приказ не приходить!

Они все четверо сидели на большой трубе воздушного охлаждения.

— Опыт удался, — сказал я им. — Действительно, можно заглядывать друг другу в душу. Ребята, вы молодцы, что пришли. Я пень. В общем опыт удался.

— Последний, я надеюсь? — спросила она.

— Предпоследний, — сказал я. — Двери все заперты, а ключи у него. Телефоны мы с ним отключили сами, чтобы нам не мешали, но дело в том, что у него оружие. Вы были правы, ребята. Это подонок.

— Так, — сказала она.

Парни быстро соскочили на пол и смотрели на нее. Курчавый взял лом.

— Отставить, — сказал я. — Мне надо провести последний эксперимент. Объяснять некогда. Дело касается его идеалов. Я должен знать. А вдруг что-нибудь полезное?

— Каких идеалов? — сказала она. — Вы все с ума посходили... Один потерял любовь в прошлом, другой в будущем, а третий пробует на себе отраву — хочет узнать идеалы подонка... Фантазеры несчастные!..

— Ребята, — сказал я троим, — если бы у вас был выбор: спасти себя или ее, что бы вы сделали?

Все трое кивнули.

— Ясно... Теперь вы видите? — сказал я ей.

— Я очень боюсь за вас, Алеша, — сказала она.

— Девочка, все будет хорошо, — сказал я.

Она резко подняла руку.

Я сразу понял. По лестнице шелестели шаги. Легкие, как будто бежала крыса. Потом все стихло. Потом завертелась ручка двери.

— Отвори... — сказал он из-за двери.

— Слушай, подонок, — сказал я, — иди наверх и жди меня там. Если еще раз придешь — все отменяется. Ты меня понял?

— Я буду стрелять, — сказал он.

— Лапочка, — сказал я нежно, — тебе же тогда конец. Кроме меня, никто не согласится на этот опыт, а времени у тебя до утра. Утром придут люди.

— Согласится... — неуверенно сказал он.

— Оставим глупости, — сказал я. — Мне надоело. Я иду к двери. Стреляй, сволочь. Ну!

— Ладно. Я подожду еще, — сказал он. — Только поскорей, не копайся... А почему у тебя голос дрожит?

— У меня колебания... Я борюсь с собой, — сказал я, зажимая рот курчавому и пытаюсь вырвать у него железный лом.

— Ага, — сказал он. — Теперь верю.

И стал подниматься по лестнице.

Курчавого оттащили.

— Видели? — спросил я.

Все тяжело дышали.

— Счастье, что вы слышали, как он крадется, — сказал я.

— У меня большой опыт, — сказала она. — Любила подслушивать, о чем говорят взрослые. Целыми днями торчала в шкафу... Да, — сказала она, — надо попробовать.

— Значит, так, — сказал я, — когда стрелка покажет максимум — переведете поток на него. А меня отключите, ясно? Но не раньше... Все очень просто.

— Присядем, — сказал низкорослый.

Присели.

Потом я поднялся.

— Я уже старик, — сказал я. — Потеря небольшая. Передайте Кате, что я вел себя хорошо.

И вышел. Позади осторожно клацнул замок. Все. Пора было окунаться в грязь.

...Я пропускаю обычные картины накопления барахла и душевного ожирения, картины корысти и зависти, картины патологических страстей, войн, убийств, звериной ненависти к таланту и презрения к необыденному. Я пропускаю картины обычного удовлетворения и картины гурманства, которые, если отвлечься от частностей, были похожи на что-то вроде бани, где теплая водичка плескалась вокруг возвышающегося твердого островка, его живота. Воздух был наполнен благовонным туманом, и на этот туман проецировались возбуждающие кинокартины, чтобы фантазия его трепетала и не давала ему уснуть. А под сводами бани раздавалась классическая электронная музыка, полезная для клеток его организма.

Я пропускаю элементарные картины и перехожу к изысканным удовольствиям. К идеалу его счастья, о котором он, может быть, и сам не знал, но которое выявило и вбивало мне в мозг безжалостное усиление.

В этих изысканных удовольствиях главную роль играл я, его помощник.

Роль моя заключалась в том, что я должен был вылизывать его поясницу.

Я вылизывал ему поясницу, но должен был делать так, чтобы он этого не заметил. Чтобы это ощущалось им как легкое дуновение теплого ветерка, повышавшего его настроение и тем самым жизненный тонус. Я старался это делать так, чтобы он, упаси боже, не почувствовал ко мне благодарности, которая бы его оскорбила.

Вылизывая его, я с легко усвоенным мастерством добивался того, чтобы у него было впечатление, что он является как бы автором всех моих бывших и будущих мыслей и работ, и открытий, и наблюдений и, естественно, владельцем всей могущей выпасть на мою долю людской доброжелательности, славы и любви и вместе с тем имел бы возможность отречься от меня в случае надобности.

Но это все относится к моим задачам по отношению к человечеству. Что же касается моей личной судьбы, то главной моей задачей в процессе вылизывания было добиться его твердой уверенности в том, чтобы он думал, что я думаю, что он умней меня, и что меня от всего этого совершенно не тошнит, и мне вовсе не хочется повеситься.

Потому что, если бы у меня мелькнула мысль, что я хочу повеситься, он бы понял, что я могу известным образом, хоть и деликатно, но все же болезненно как бы укусить его в поясницу, и ему бы пришлось слегка отдернуться. А это телодвижение могло быть неправильно истолковано испуганным человечеством как прямое указание совсем самоуничтожиться и не дышать вовсе. А это могло бы вредно сказаться на здоровье и численности человечества и тем самым — и это главное — на его настроении.

Наслаждение его от моего вылизывания поясницы становилось все острее, становилось почти болезненным. Язык у меня одеревенел, и я чувствовал, как ко мне приближается моя гибель. Потому что надвигалось неудержимое желание плюнуть.

Плюнуть ему в помутневшие, узко прищуренные от вожделения очи, а заодно и плюнуть на свою раздавленную жизнь.

У меня уже скапливалась слюна, а за окнами зала, украшенного орлами, дикторскими пучками и свастикой, я слышал веселый лай овчарок и хриплые голоса команды, и тянуло гарью от душегубок.

И тут все кончилось.

Молодцы эти четверо.

Молодцы эта девочка и эти трое ребят, которые могли показаться скучными только такому стареющему олуху, как я, девочка Афина и трое рабочих парней, трое мастеров — крепость, корни, кровь человечества, гордость земли и ее великая норма.



Юный рассвет заливал опоганенную лабораторию. Розоперстая Аврора поднималась над заснеженным сказочным лесом вдали.

— Привет тебе, Аврора, — сказал я.

И эхо загудело в пустых переходах: Аврора... Аврора...

Раздался вежливый шорох.

Я оглянулся. Он сидел на полу, прислонившись к стенке — этот несостоявшийся гибрид электроники и Чингисхана. Он глядел на меня удивленно и не узнавал.

— Привет, — сказал я осторожно.

— Привет...

Он закивал головой и засунул палец в нос.

— Что ты чувствуешь?

— Ничего.

— Ну и прелестно, — сказал я. — Тебе чего-нибудь хочется?

— Нет.

— Пора завтракать, — сказал я.

Я вытащил из-под него пистолет и вышел. Ничего. Шок скоро пройдет.

На лестнице я встретил ребят.

Увидев меня, они остановились и смотрели спокойно и празднично. Только у белобрысого, курчавого, самого эмоционального из них, дрожал подбородок.

— Золотые мои, красавцы мои, праздничные мои... — сказал я. — Я люблю вас всех, чертей, вы даже себе не представляете, как люблю... Я всегда вас любил, только на этот раз мне, кажется, удалось доказать это на деле...

— Не плачьте, — сказал низкорослый. — Энцефалограмма получилась что надо. Аккуратная, как диктант.

— У меня есть одна догадка насчет него, — сказала Афина.

— Дайте ему позавтракать, — сказал я.

Начинался рассвет.

Они прилетели...

Дальше расскажет художник.

Пункт встречи. Продолжает рассказывать Якушев. Победа

...Где-то летит самолет.

В белесо-синем небе стоит гул самолета.

Что мы увидим, если облокотимся на горячий от солнца подоконник и выглянем наружу в широкое, жестко очерченное, как на картине Лактионова, окно?

Мы увидим внизу макушки пешеходов, удаленных на девять этажей, и пешеходы при ходьбе выбрасывают вперед прямо из-под головы ступни ног.

Мы увидим белесое синее небо и облачка, расположенные сближающимися к горизонту рядами. Они расположены так для того, чтобы создать ощущение перспективы и пространства, ныряющего куда-то за дальние гряды домов, которые приближаются к нам силуэтами, проштрихованные солнечными полосками крыш.

Мы видим светлый полет голубей.

Черный полет ласточек в небе.

И еще мы видим Москву.

А звуки... Боже мой, какие мы слышим звуки! Мы слышим торопливое тиканье часов на столе, дальний, сливающийся гул машин на магистрали и шипенье листвы деревьев, натканных между залитыми солнцем крышами домов. Еще мы слышим

гуденье мухи в окне, щебет птиц и дальнюю басовитую зевоту летящей тройки истребителей, которые делают разворот и поэтому кажутся мчащимися наперегонки...

Если же отстраниться от горячего камня подоконника и оглянуться на комнату, то мы увидим квадратный будильник 2-го Государственного часового завода под названием «Сигнал» и зеленые стрелки, которые показывают двенадцать.

И еще мы увидим молодую женщину, которая спит на раскладушке среди этого белого дня, и увидим белую простыню, которая мирно лежит рядом, сброшенная на пол сонной рукой.

Она спит среди бела дня потому, что вчера были гости, немножко выпили, кричали песни, а потом она и я, художник Константин Якушев с детской кличкой Да Винчи, остались вдвоем.

А потом была короткая летняя ночь и длинный рассвет, которые не описывают в романах для того, чтобы мальчики и девочки, читающие толстые журналы, не знали раньше времени, что это хорошо.

Я в детстве увлекался фантастическими романами, где рассказывалось, конечно же, о будущем. И меня, как всякого школьника, которому еще предстоит принять участие в неслыханных удовольствиях взрослых, интересовало, естественно, как там, в будущем, будет выглядеть хорошая жизнь. А так как взрослые были отделены от меня возрастным интервалом, который все никак не сокращался, и рубеж его удалялся с такой же скоростью, с какой я стремился вырасти, то я никак не мог отделаться от впечатления, что взрослые — это какой-то особый клан, попасть в который лично мне никак не удастся и который лично меня злоумышленно оставляет за бортом.

Но как я ни выросл, как ни отсчитывая годы, которые приближали меня к заветному рубежу, как ни объедался информацией, сиречь знаниями, которые казались мне синонимом взрослости, результатом было печальное сознание своей инфантильности и интеллектуальной незрелости.

Конечно, я был ничем не хуже большинства порядочных людей, не уклоняющихся от своих обязанностей перед близкими. Но меня в эти минуты прозрения удручало, что я ничем не лучше. Потому что, только ощущая себя чем-то лучше других, можно испытывать радостное чувство равноправия.

Я читал тогдашние фантастические романы и, пропуская межпланетные битвы, обледенения планет и кибернетические ужасы, все эти хлесткие выводы из недостоверных данных, искал в этих монбланах выдумок те места, где автор рассказывает, как, по его мнению, выглядит хорошая жизнь. И вот тут-то начиналось самое постылое, если не сказать ужасное.

Основная масса прогнозов по части хорошей жизни, если отбросить камуфляж и увертки, сводилась либо к безделью, либо к экзаменам.

Безделье в этих случаях обеспечивалось автоматикой, а экзамены — услужливыми стихийными бедствиями, а также авариями все той же автоматике, то есть все той же тренировкой, а вернее сказать — дрессировкой личности на предмет встречи с неожиданными неприятностями, без которых авторы не представляли себе хорошей жизни. Мне казалось, что все это можно было назвать хорошей жизнью только по недоразумению.

И никому из них почему-то не приходило в голову, что хорошая жизнь лежит не столько вне человека, сколько внутри него. Потому что ежели бы мы полностью зависели от жизни внешней и не обладали бы дискретностью и самостоятельной неповторимостью, то мы бы и изменялись полностью с изменением внешних условий и тогда нельзя было бы говорить о человеческом виде. Да что там о человеческом! Тогда бы картошка, посаженная в тропиках, становилась бы, скажем, ананасом, чего, как выяснилось, не происходит.

Были, конечно, фантазеры, которые показывали, как должна выглядеть хорошая жизнь, если человек к ней внутренне подготовлен. Но таким авторам отказывали в научности, и потому к ведомству фантастики они не принадлежали. Александр Грин, например.

Может быть, я против науки? Упаси боже. Я против ее самоуверенности.

Если наука перестает понимать, что она всего лишь работник на постройке этического максимума, она становится тормозом и обманом.

И в результате огромная природа и дрожащий человек на краю неведомого.

И тогда вспоминают о поэтах. Вот кто максималист. Сколько ни дай ему любви — ему все мало. Любовь мужчины и женщины, любовь человека к человечеству, любовь человека к природе — все мало. И вот уже любовь к меньшому брату, и поиск общения, и нежность к зверю, и человек не наглядится в ищущие глаза собаки, и носит за пазухой котенка или кролика, и говорит, что человеческий малыш похож на медвежонка, и говорит: вот зверь бурундук — он маленький, и хвост у него пушистый, он сидит на плече и ест хлеб из рук, у него три черные полосы, на ушах кисточки и личико умное — так мне одна девушка описывала зверя бурундука, и я уже никого не хочу, подай мне бурундука, и все, — я его люблю. Вот программа максимум. Ничего другого не хочу, и подай мне это, да и все тут, и я буду описывать это и описывать, ища вокруг крупницы этого рая, даже в подворотне, даже в трущобах, даже на войне, где люди бьют друг друга насмерть, вымещая друг на друге беспомощность и злобу за тоску по ненайденному раю. И тогда оборачивается ярость сбитого с толку человека на ученых — куда вы завели нас, ученые люди? Вы придумали самоварчик и керосинку и думаете, что я счастлив, и тем ограничили мои желания, и вот я бью себе подобного насмерть и даже зверье развожу на убой. И тогда вымещают злобу на ненайденный рай на поэтах: зачем пробуждаете неисполнимые желания, зачем соблазняете несбыточными картинками, зачем заставляете тосковать по невозможному? И вот я в пьяной тоске бью свою возлюбленную за то, что она не бессмертна, и одежды ее, которые только и нужны, чтобы срывать их в любовной игре, или уродливы, или прячут увядающее тело.

Спеем же песню о Гошке по прозвищу Памфилий, ибо он доказал.

Воспоем же мужчину, силу его и доблесть, нежность его и ярость, чувство локтя и веру. Потому что нет безнадежной битвы, и след в сердцах — это след навеки. Ибо вечно в тревоге сердце человеческое, и нет того, кто бы достиг покоя.

Потому что сказал поэт: забвенье — пустой и обманчивый звук, понятный лишь только в могиле. Ни радостей прошлых, ни счастья, ни мук придать мы забвению не в силах. Что в душу запало — останется в ней. Ни моря нет глубже, ни бездны темней. Споем же песню о Памфилии, потому что он доказал.

Помните, прилетел марсианин?

Когда слишком долго ожидается какое-либо событие и строят прогнозы, то потом удивляются, если оказывается что все произошло гораздо обыденней, чем это представлялось, и все смутно разочарованы, как будто их обличили в тупости. Собственно говоря, выражение «как будто» здесь — чистая дань вежливости...

То есть все, конечно, понимали, что, сколько бы ни длилось ожидание, а вернее сказать — неожиданение, какое-то эмоциональное неверие в то, что это может произойти, однако же это когда-нибудь все-таки случится. Но это будет как-то обставлено заметно для всех.

Конечно, потом все несколько пообвыклись, но первое впечатление ошеломило своей обыденностью. Нет, конечно, это произвело огромное впечатление, и были возбужденные толпы, и люди, прилипшие к телевизорам. Но все это не переходило рамок возбуждения в городе, в котором происходит, скажем, международный фестиваль.

А потом случилась эта история в лаборатории Аносова.

Когда выяснилось, что марсианин-то похож не просто на человека, а на самую плохую его разновидность и что опыт Аносова при всех его благородных намерениях чреват самыми неприятными последствиями.

И так оказалось, что все мы трое, как это бывало уже не раз, были опрокинуты мучительно, и на этот раз, видимо, непоправимо. Потому что годы уже не те и надежд все меньше.

Сроки, отпущенные на мечты, кончились, и наступили трезвые сумерки.

Мы безнадежно устарели. Моя эллинская красота последний раз сверкнула и вытекла струйкой из горсти. Лешка ударился лбом о проклятый выбор — забор между научным открытием и его этическим смыслом. А Памфилий вместо встречи с живым идеалом и неземной тающей нежностью увидел большой марсианский кукиш.

...И мы сидели втроем и дымили сигаретками. И не заметили, как сумерки стали ночью, и тут раздался топот многих ног по лестнице и на улице за открытым окном. И тут нам постучали в стену и зазвонил телефон.

— Включите радио! — крикнули нам. — Включите телевизор!

Началось.

Они прилетают.

Они опустились. Первой вышла она. Потом он.

Споём же песню о Гошке Памфилии, ибо он угадал.

Особое понимание, безошибочная тающая нежность и сила, скользящая, как ручей. Кожа под рукой нежная, как ветер.

Засмеялась.

— Сейчас, — сказала она.

И приложила руку ко лбу.

Потом она начала медленно говорить.

Толпа замерла, притихла. Она отстранила микрофон, но ничего не изменилось. Звук доходил каким-то другим способом...

Он все угадал, Памфилии, он все угадал, этот проклятый клоун. Он только не угадал, что все выйдет лучше.

Опасения не подтвердились. Не было ни паники, ни атомной ошалелой защиты, никого не сбили из пришельцев, и не надо было расхлебывать кровавую кашу недоразумений.

Просто в черном небе, затмевая свет звезд, возникла светящаяся надпись: «Мы прилетаем».

Мелькнула мысль — мистификация, и тут же отпала. Расшифровывать не пришлось. Надпись возникла над всеми столицами мира и была на языке этих столиц.

— Прилетал ли кто-нибудь до нас с Марса? — спросила надпись.

— Да, — ответили столицы.

— Мы вас слышим... Что с ним?

— Все нормально.

— Мы летим с дружбой. Не бойтесь, — сказала надпись.

Потом надпись исчезла.

Всю ночь мир ждал. На рассвете они прилетели.

В некоторых странах поднялись в воздух на баражировку атомные ракетноносцы.

Нет. Наши не подкачали. Наши показали себя молодцами.

Кто первый догадался, точно неизвестно. Говорят, мальчик — радиотехник с московской радиостанции. Он запустил на всю мощность:

— ...Мы работники всемирной... великой армии труда...

И смолк.

Правительство подтвердило:

— Продолжать.

Великий гимн ушел в космос.

— Мы вас поняли, — пришел ответ.

Звездолет осторожно опустилсЯ во Внукове.

Гошка лежал ничком на тахте, накрыв голову курткой.

Я огляделся. Телевизор не был включен. За стеной орало радио.

— Гошка, — позвал я, — машина внизу. Катим во Внуково.

Плечи его вздрагивали.

— Ты что, старик? Ведь все как ты хотел!.. — сказал я.

Я наклонился над ним и приподнял куртку. Он обернул ко мне белое лицо.

— Никто не поверит, — сказал он. — Никто... Я же все это видел раньше. Никто...

Дико зазвонил телефон.

— Гошка, — кричал далекий Аносов, — Гошка, немедленно приезжай... Костя, это ты?... Хватай его и вези сюда... Это она, та самая... которую мы сочинили в детстве из фотографий, которую ты вырубил из дерева... которую нашли в Африке... Гошка, приезжай, — орала трубка. — Ей на вид гораздо меньше двенадцати тысяч лет...

Когда мы примчались во Внуково, толпа растекалась по аэродрому, в воздухе кружились вертолеты, а с грузовиков лопатами прямо на бетонные плиты вокруг звездолета скидывали цветы.

— Пропустите, — сказала она, глядя вверх голов.

Не сразу все поняли. А потом поняли.

И мы поняли только тогда, когда вокруг нас образовалась испуганная пустота, которая стала шириться впереди нас и превратилась в дорогу к звездолету.

— Идите, идите, — раздались голоса. — Она зовет.

Гошка стоял, закрыв глаза, старый-старый.

Мы взяли его под руки и двинулись втроем. Как на похоронах.

Она сошла по ступенькам.

— Двенадцать тысяч лет ты любил меня, — сказала она. Я пришла.

Гошка открыл глаза, и мы, подумали: где мы видели этого человека? И тут же вспомнили. Мы видели его у нас во дворе, на Благуше, много лет назад.

Гошка стоял молодой, семнадцатилетний.

«Как прекрасно почувствовать единство целого комплекса явлений, которые при непосредственном восприятии кажутся разрозненными», — сказал Эйнштейн.

Конечно, это должно производить ошеломляющее впечатление, когда человек смотрит на факты и их связи и должен сделать нормальный вывод, а он вдруг высказывает некое предположение, не имеющее никаких оснований, и все говорят — чушь, а именно оно и подтверждается. И тогда, чтобы избавиться от ошеломления, окружающие говорят, что в общем это все давно известно, и вспоминают тысячу фактов и подтверждений. Только почему-то на эти факты никто не обращал внимания, пока кто-то не связал их в своем сознании и не высказал на первый взгляд нелепую мысль.

Дальше пропускаю почти все. Нет ни красок, ни линий, все пока еще дрожит и переливается в перламутровом тумане.

Хочу только рассказать об одном разговоре. Надо рассказать.

Гошка помог мне устроить этот разговор. У него теперь такие связи!

Разговор этот происходил в скверике возле Музея изобразительных искусств на Волхонке.

Шли посетители, поднимались по каменным ступеням посмотреть на слепки старых богов, а мы сидели на скамеечке и разговаривали с марсианином.

Нет, не с тем, первым, а с этим, настоящим. Он был как все мы и поэтому незаметен. Но, только разговаривая с ним, понимаешь: нет, все другое. За его лицом, за внешностью угадывался другой мир, другой опыт, нормы других отношений.

Другая норма ощущалась в его взгляде — вот в чем дело.

И потом это их мышление по «сути», а не по «словам», и мгновенное понимание. Вдруг благодарит ни за что, вдруг оборачивается вопросительно. Никак сразу не ухватишь, какие куски пропустить в речи, чтобы не топтаться на очевидном.

Такое впечатление, что тебя заставляют говорить не прозой, а по логике стиха.

— Мы улетаем, — сказал он.

— Я понимаю, — сказал я.

— Теперь вернемся скоро.

Но на самом деле я многого еще не понимал. И он видел это.

— А как же вы все-таки прилетели? — спросил я. — Вы же говорите, что у вас не развита техника.

— Вы не поняли: она у нас развита, но развитие ее шло путем, противоположным вашему. Мы уже очень давно умеем путешествовать за пределы планеты, но мы почти не умеем добывать энергию. Она всегда у нас была даровая. Теперь положение изменилось. И давайте взаимно учиться.

— Передайте Аносову — он на верном пути. Но важна не только энцефалограмма, важен весь спектр биотоков человека. И еще. Вам. Запомните. Внешность выстроена по законам, внешность, не маска, маска — это ложь. Поэтому одним нужно продление внешности внутрь, а другим выведение внутреннего мира наружу. Я еще плохо говорю словами. Понятно?

— Понятно, — сказал я. — Но ответьте. Наука стремится перейти дозволенную грань и вступает в противоречие с этикой. Как снять противоречие? Часто между людьми стена из воздуха.



— Преодоление отчужденности равно преодолению этического барьера, а не прорыв в психологию, как думал Аносов. Этический барьер — вот чем займется ваша наука теперь. Человек не средство, а цель. Человек — это пункт встречи всей вселенной. Кто думает иначе, тот...

— Мещанин, — подсказал я.

— Да. Главный ваш враг, — сказал он. — Это есть ваш последний и решительный бой...

— А ваш?

— И наш, — сказал он. — Но мы прилетели перенять ваш опыт... У нас развитие шло другим путем. У них развитие пошло не по линии техники, а по линии саморазвития. За технику они только сейчас берутся всерьез, уже готовые к ней нравственно.

— Как это получилось? — спросил я.

На Земле использование атомного распада есть венец развития материальной культуры, цивилизации, а у них это начало. У них там сложились такие условия, что урановые источники были для них в древности как для наших неандертальцев головни из лесного пожара. У них не было нужды обеспечивать внешнюю жизнь, поэтому их история — это в основном развитие жизни внутренней. Только теперь стали иссякать природные источники энергии, и они нуждаются в нашем внешнем опыте и принесли нам плоды опыта внутреннего.

Вот почему они до сих пор не прилетали. И мы не успели тоже.

Теперь спокойно. Теперь я должен рассказать нечто, что переворачивает все обычные представления и что тогда показалось мне убедительным, как аксиома, а теперь после их отлета похоже на фантастику.

Слушайте. Они уже прилетали один раз.

Они прилетали и застали расу прекрасных людей и поняли, что люди созрели для красоты. Помните, об этом рассказал Гомер — первый эксперимент с красотой, похожий на Лешкин эксперимент с техникой? Афина — мудрость, Гера — обыденная жизнь, Афродита — красота. Парис выбрал красоту, и Афродита открыла ему глаза на красоту Елены. Помните, что получилось тогда? Парис присвоил красоту. И началась война между людьми, увидевшими ценность красоты. Видоизменяясь в эпохах, эта война длилась до двадцатого века, пока люди сообразили, что война хуже, чем отказ от красоты, и наступила обыденность.

— Парис был первый мещанин, — сказал он.

Странно, я не засмеялся и очень удивился этому. Я помню.

— Мы тогда исходили из своих представлений, — сказал он. — И потому выбрали Париса, прекрасного молодого человека, норму. Мы тогда еще не знали о вашем пути развития, противоположном нашему, и думали что вы просто отстаёте по фазе. Поэтому мы выбрали норму и проглядели исключение, обещавшее норму более высокую — Гомера. Они его считали слепцом. Они ошибались. Просто взгляд его стекленел, когда он переводил наш способ понимания в ваши слова... Теперь мы прилетели потому, что нас позвал ваш друг. Мы поняли, что наступает эпоха новой нормы. Вот и все.

— Нет... не все... — сказал я.

Меня била дрожь. Мы стояли возле колонны, и я трогал руками холодные каннелюры, и в глазах у меня билась синь Эгейского моря.

— Если все так, как вы говорите... если ваш мир такой... то кто же был этот первый, которого вы прислали?..

— Мы не присылали его. Он улетел сам.

— Кто же он? Кто эта вонючая помесь электроники и Чингисхана, этот озверелый мещанин?

— Он удрал из больницы и чуть все не испортил. Это просто наш сумасшедший, — сказал он. — По-вашему — псих. Я думаю, и у вас мещанство — это безумие.

...Утро было розовое, тихое.

Она еще спала, моя Афродита. Елена моя, моя благородная норма, девочка золотого века, и на шее у нее пульсировала голубая жилка.

Я все вспомнил. Всю свою жизнь за последние тысячи лет человеческой истории, и в душе у меня звучала прощальная песня Гошки Панфилова, Памфилия, который не подчинился и угадал, он вымечтал свою любовь, и она претворилась. Это была песня про Аэлиту.

Мужики, ищите Аэлиту!
Видишь, парень, кактусы в цвету!
Золотую песню расстели ты,
Поджидая дома красоту.
Семь дорог — и каждая про это,
А восьмая — пьяная вода.
Прилетит невеста с того света
Жениха по песне угадать.
Разглядит с ракеты гитариста,
Позовет хмельного на века,
Засмеется смехом серебристым
И растопит сердце простака.
У нее точеные колени
И глазок испуганный такой.
Ты в печурке шевельни поленья,
Аэлиту песней успокой.
Все равно ты мальчик не сезонный,
Ты поешь, а надо вычислять,
У тебя есть важные резоны
Марсианок песней усыплять.
Вот разлиты кактусной пол-литра,
Вот на Марс уносится изба.
Мужики, ищите Аэлигу,
Аэлита — лучшая из баб.
Не беда, что воют электроны.
Старых песен на душе поток!
Расступитесь, Хаос, Космос, Хронос!
Не унять вам сердца шепоток!

Мне всегда хотелось прочесть или написать роман, а может быть, повесть, которая бы кончалась так: «... Он просидел за столом до утра, заснул, положив голову на руки, потом проснулся и увидел, что наступило утро.

Он встал, вытер лицо ладонями. Панорама домов уходила в легкий августовский туман. Стараясь не глядеть на незнакомую комнату, где он прожил много лет, перешагивая через бумажный мусор, посуду и заскорузлые холсты, он вышел из квартиры и запер ее на ключ. Когда он вышел из парадного, в уши ему кинулся негромкий призрачный шум улицы.

Панорама домов уходила в легкий августовский туман. Слышался шум работ, звенели трамваи. Он достал из кармана ключ от квартиры и, подойдя к краю тротуара, опустил его в ближайший водосток. Панорама домов уходила в легкий августовский туман. Надо было жить. Звенели трамваи...» Я проснулся и увидел, что наступило утро. Я отлежал все бока на одеяле, постеленном в углу мастерской. А ведь когда-то я мог, как на перине, спать на каменных плитах, и подушкой мне служил пистолет ТТ, накрытый фуражкой. Стареем, мамочка моя. Да и пистолет ТТ давно снят с вооружения.

Это я узнал в незапамятные времена на офицерских послевоенных сборах, где нам бегло показывали всякое новое оружие, и я тогда во все поверил, во все новинки и не удивился новинкам. Я только удивился и не поверил, когда сказали, что ТТ снят с вооружения. Почему-то мне казалось, что личное оружие — это ТТ и что это синонимы. А как можно отменить синонимы?

Нужно было, чтобы прошло много времени, пока я понял, наконец, что у ТТ синоним не только «личное оружие», но и «фронт», и «лицо без морщин», и «незнание жизни», и «торопливые обобщения», и «умение спать на плитах, подложив под голову личное оружие, накрытое фуражкой», и «молодость».

И нужно было, чтобы прошло совсем немного времени, чтобы прошли эти короткие беглые месяцы, чтобы я понял, что молодость духа не отменяется, умение работать круглые сутки не отменяется, нежность к работающим людям и к младенцам, пихающим тротуар ногой и с воплем наезжающим на вас своими самокатами, и к воробьям, и к площадке молодняка в зоопарке не отменяется, ненависть к паразитам со сладкими голосами, и к втирушам, и к выползням, к жирным выползням после очистительного дождя, не отменяется, главное не отменяется: от каждого по способностям не отменяется. Так как для художника всегда была важнее всего первая половина формулы: от каждого по способностям. Так как трагедия его начинается тогда, когда от него перестают требовать по способностям, и он не может быть счастлив, даже если ему дают по его труду или даже по его потребностям.

Ибо главная его потребность — чтобы ждали, мечтали, надеялись на проявление его способностей, чтобы требовали от него по его способностям.

У него огромные потребности, у художника. Ему нужны бесплатная пища, бесплатный кров, бесплатные переезды во все концы, бесплатные краски, бесплатные стены, бесплатные города, бесплатный мир, который он мог бы бесплатно украшать цветами своей души и который бы ждал проявлений его способностей. Ему нужна самая малость. Ему нужен мир, описанный полтора-два года назад двумя художниками в «Коммунистическом манифесте».

Панорама домов уходила в легкий августовский туман.

Я выпил молока и стал тихонько убирать захламленную мастерскую. В душе у меня звенели трамваи моего детства.

Она все еще спала.

— Благородная норма, — сказал когда-то старик.

Она спала.

Я наклонился и стал смотреть на эту вздрагивающую на шее голубую жилку, в которой была заключена светлая и яростная надежда всей мыслимо обозримой вселенной.